

Филипп Гопп
ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА
ПОЩАДЫ

ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ



ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ • ПУТЕШЕСТВИЯ •
ФАНТАСТИКА

Leo
2018

ФИЛИПП ГОПП
**ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА
ПОЩАДЫ**



Революционные
приключения



**Четыре
месяца пощады**

повесть



ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ПОЩАДЫ

I

Нерешительный звонок.

«Горничная отпущена на сегодняшний вечер. Надо пойти открыть». На стенных столовых часах половина девятого. «Муж возвращается всегда в десять. Кто бы это мог быть?».

Длинный, полутемный коридор передней. Светлая рама открытых парадных дверей и...

— Джонни! — Оливия!

Каждый вечер, ровно в половине десятого, мистер Чарльз Трайвет, возвращаясь из своего большого колониального магазина, садится в поезд окружной железной дороги, который из делового Сити мчит его в спокойный Уэст-Энд. Там поджидают его семейный уют, обед и жена Оливия.



Магазин, садится в поезд окружной железной дороги, который из делового Сити мчит его в спокойный Уэст-Энд. Там поджидают его семейный уют, обед и жена Оливия.

Полтора часа быстро проходят, когда воспоминания на машине времени мчат на пять лет назад, в прошлое.

Столовые часы бьют десять.

Джонни и Оливия вздрагивают. Резкий, повелительный звонок возвращает их в действительность.

— Муж, — испуганно вскрикивает женщина.

Грозно нахмуривается мужчина...

II.

Знаменитый детектив Томас Мидльтон об убийстве Чарльза Трайвета.

В два часа ночи на моем ночном столике тревожно зазвонил телефон. Мой глубокий сон был прерван, и я с негодованием поднял трубку. Услышав голос нашего всезнающего Борлеза Чайдльса, сообщившего мне, что, в связи с тайным прибытием в Лондон агента некоей республики, ему понадобится моя помощь, я совершенно вырвался из объятий назойливого сна. После первой фразы, сказанной довольно четко, из телефонной трубки вдруг послышалось неясное ворчанье, потом просьба извинить и, не давая отбоя, подождать несколько минут.

Через некоторое время я услышал только два слова: «Приезжайте немедленно». По особой, стальной интонации, свойственной милейшему Чайдльсу, когда он волнуется, — я понял, что случилось нечто важное.

Через несколько мгновений наемный авто мчал меня в Скотленд- Ярд.

— Томас, старина, — сказал мне Борлез, когда я вошел к нему в кабинет. — Вам придется здорово поработать сегодня ночью.

— Что еще особенного случилась, друг мой? — спросил я, как всегда, усаживаясь в свое любимое покойное кресло.

Он заговорил резко и возбужденно:

— О, чёрт его побери, все этот изменник, эта скотина Гаммонд, за которым мы имели постоянный надзор в России. Понимаете, какой негодяй, ему вздумалось под чужим документом прокатиться в Лондон. На границе он сбил со следа наших агентов. Мы учредили надзор на всех наших пристанях и вокзалах. Сегодня днем его заметили на Северном вокзале, но не успели задержать, и он опять ускользнул. К ночи опять напали на след, который привел на квартиру некоего Чарльза Трайвета. Но, увы, как мне только что сообщили, слишком поздно. Там все перевернуто, видны следы отчаянной борьбы, хозяин задушен, а жена его Оливия исчезла.

Когда мы подъехали к дому, где было совершено убийство, перед ним — только благодаря позднему ночному времени — не толпились любопытные. Взойдя на второй этаж, мы остановились перед наружной дверью, ведущей в квартиру Трайвета. Весь парадный ход был сильно освещен и поэтому я, имеющий привычку смотреть себе под ноги, сразу заметил у порога недокуренную папиросу. Мундштук доказывал русское ее происхождение. Я поднял и внимательно осмотрел ее.

— Послушайте, Мидльтон, — прорычал над моим ухом чересчур практичный Чайдльс, — предоставьте это занятие мальчишкам-газетчикам. Вместо окурков вам предстоит сейчас осмотр тела.

— Спокойствие, старина, давайте займемся немного психологией. Мертвое тело от нас не убежит, окурок же могут затоптать. А на нем прекрасные строки есть, прекрасные строки, Борлез.

Чайдльс иронически скривил свои топкие губы:

— Подумаешь, влюбленная записка.

— Вот, вот, вы невольно угадали, дорогой мой, влюбленная записка. Это хорошо сказано. Посмотрите, папиросяная бумага,

покрывающая табак, не имеет тех специфических пятен, какие бывают обыкновенно на ней, если куришь под дождевыми каплями. Она совершенно не сморщена, а сегодня весь день лил дождь. Мы можем сделать два вывода. Или папироса курилась здесь, или в лимузине... Но вот в углу лежит спичка, это говорит за то, что она была зажжена здесь. вот и на стене следы от прислонившегося мокрого плеча... Преступник носит резиновый макинтош. Запомните, дорогой мой. Как видно, была минута нерешительности и ожидания, потому что, заходя в дом, не закуривают. Спичка, догоревшая чуть ли не до конца, должна была обжечь пальцы — признак глубокого раздумья, мундштук весь изгрызен и измят — признак волнения... Да, это любовная записка, друг мой, вы правы. Преступник, идущий на заранее обдуманное убийство, дьявольски спокоен. Только влюбленный может так нервничать... Я надеюсь, вы согласны со мной.

Борлез Чайдльс ничего не ответил. Мы молча вошли в квартиру. Нас встретил дежурный полицмен. Он предупредительно провел нас прямо в столовую, где был убит хозяин. Мистер Трайвет, очень полный мужчина, среднего роста, с гладко выбритым лицом, лысеющей



макушкой и седыми висками, лежал навзничь на ковре, подогнув под себя одну руку. Лицо его было багрово-синее. Из оскала больших желтых зубов выпирал кончик, прикушенного языка. Вокруг тела несколько стульев было опрокинуто. Ковер драпировался чудовищными складками, которые напоминали волны бушующего моря. Я осмотрел всю комнату. На большом обеденном столе не было никаких следов еды... Он был покрыт бархатной скатертью. На одном краю его лежала раскрытая книжка, которая оказалась французским романом. На двух других краях стояли две пепельницы. В одной из них лежали такие же окурки папирос, как и найденный мною у порога. В другой — едва, едва раскуренная сигара.

Опустившись перед трупом на колени, я тщательно исследовал через лупу шею и руку, лежащую на груди.



— Чайдльс, — сказал я через несколько минут, — убийца большого роста, очень большого роста, можно сказать, великан. Человек страшной, прямо-таки дикой, силы. Он жгучий брюнет, бритый и....

Дикий хохот потрясал Борлеза Чайдльса с головы до ног.

— Вы прямо-таки великолепны, — сказал он, наконец, отдохнувшись, — но должен вам сказать, что ваш шерлок-холмсовский метод на этот раз привел вас к полнейшему абсурду. Мак Гаммонд, по крайней мере, если судить по имеющимся у нас фотографиям, очень низкого роста, тщедушный и хилый. К тому же он рыжий и носит реденькую козлиную бородку. Если хотите, я позову агента, и он вам покажет карточку.

— Мой друг, я и не сомневаюсь в том, что Гаммонд соответствует вашему описанию. Но...

— Что «но»?..

— ...Но, кто вам сказал, что Трайвета задушил именно он?

— Как, вы думаете?..

За время наших пререканий, я приподнял тело убитого и высвободил придавленную руку. В судорожно стиснутом кулаке болталась порванная цепочка тонкой работы, к которой прикреплен был золотой медальон. Он был раскрыт. Я взглянул на него и, не говоря ни слова, передал своему недоверчивому другу.

На его лице отразилось недоумение, в голосе сквозила нерешительность, но он все-таки пытался отстаивать свое мнение.

— Ну что-ж, Мидльтон, по-моему, это еще ничего не доказывает, что в каком-то медальоне, на какой-то карточке брюнет, бритый и... и хотя бы, действительно, нисколько не похожий на Гамmonда. .

Я подозвал полисмена.

— Скажите, дежурный, вы не знаете, прислуга была отпущена на сегодняшний вечер?

— Да, сэр. Горничная, возвратившись первой, подняла тревогу и вызвала полицию.

— Я так и знал. Сделайте одолжение, дежурный, пришлите ее сюда.

Горничная Трайветов — высокая, худощавая девушка с пепельными волосами и голубыми, насмерть перепуганными глазами отвечала тихим, прерывающимся голосом.

— Скажите, вам знаком этот медальон?

— Да, сэр. Его всегда носила, почти не снимая с шеи, мистрис Оливия.

— Мистрис Трайвет вас сама отпустила ва сегодняшний вечер?

— Да, сэр.

— Без вашей о том просьбы?

— Бет, сэр... т.-е. да, сэр... Видите ли. она знала, что у... меня есть... жених, и бывала иногда настолько добра, что отпускала сама.

— Прекрасно. Ну, а вы не знаете, ваш хозяин курил когда-нибудь такие папиросы?

Я взял из пепельницы окурок и показал ей.

— Нет, сэр. Мистер... — она испуганно покосилась в сторону убитого — Трайвет курил только сигары.

— Ага, хорошо, очень хорошо. Можете идти. Милейший Борлез, мы можем осмотреть остальные комнаты.

В кабинете, обставленном с деловой строгостью, все было в порядке, за исключением конторки. Один ящик в ней был выдвинут и из него, как видно поспешной, что-то ищущей рукой, были выброшены на пол какие-то счета. Я обратил внимание на раскупоренную коробочку с патронами Смит-Весона, лежащую на дне ящика. Массивный несгораемый шкаф не был даже тронут. Никакого намека на ограбление не было.

В спальной все вещи были на местах. На туалетном столике шкатулка с драгоценностями осталась неприкосновенной.

В передней на вешалке сиротливо висело пальто мистера Трайвета. Пальто его жены исчезло бесследно.

— Скажите, Борлез, вы предполагаете, что жена Трайвета тоже в опасности?

— Мне кажется, что это детский вопрос, Мидльтон.

— Почему?

— Да бог мой, не, поехала же она в самом деле в ночное кабаре с этим, убившим ее мужа, животным!

— Вы делаете большие успехи, большие успехи; Чайдльс. — пробурчал я задумчиво. — Как вы говорите? Не уехала ли она с этим животным?.. С этим животным?.. Как знать, Чайдльс, женщины иногда питают большую любовь к животным...

Мы вернулись в столовую. Споткнувшись по дороге об один из лежащих стульев, я поднял его и нашел под ним небольшой никелированный Смит-Весон. Размер калибра вполне отвечал найденным мною в конторке патронам.

— Ну, теперь все. Я, надеюсь, Борлез, что вы возьмете стул и уделите мне несколько минут внимания.

— Безусловно, Мидльтон.

— Ну, так вот. Садитесь и слушайте. Взглянув на стол, мы можем восстановить такую картину. На нем лежит сентиментальный французский романчик. Естественно, его читала мистрис Оливия. В одной из пепельниц несколько окурков уже известной нам русской папиросы, в другой едва-едва раскуренная сигара. Со слов горничной мы можем установить, что ее раскурил Трайвет.... Следовательно, окурки папирос принадлежат пришельцу. Кроме того, их количество доказывает, что он был здесь задолго до прихода хозяина. Теперь. Мистрис Оливия носила на груди карточку молодого человека. Муж перед своей трагической кончиной сорвал с шеи жены медальон и раскрыл его, как бы желая сличить с кем-то. Жест ревности. Жест мужа, потерявшего к своей жене уважение. Предположим, что она любила когда-то какого-то мужчину, он уехал куда-то или из-за

каких-либо других причин она вышла замуж за другого. Муж увидел случайно карточку в медальоне и терзался ревностью, не говоря жене о том ни слова. Придя сегодня домой после закрытия магазина, он застает у себя дома в обществе своей ревнуйемой жены какого-то незнакомого мужчину. Как он был ему представлен — неважно. Несколько минут сидят и говорят о постороннем. Он внимательно всматривается и видит что-то назойливо знакомое в чертах собеседника. Не в силах совладать с внезапно нахлынувшим на него подозрением, он идет в кабинет и вызывает туда же жену. Сорвав у нее с шеи медальон, он узнает того, кто сидит сейчас в столовой. Не помня себя от бешенства, он выхватывает из ящика конторки револьвер и бежит туда. Убийца, как я уже говорил раньше, невероятно силен. Увидев мистера Трайвета в таком странном состоянии, он не растерялся и бросил в него через всю комнату тяжелый дубовый стул. Ну-ка, попробуйте это сделать. На одной руке при осмотре тела пальцы оказались перешиблеными. Револьвер выпал. После детской, для него, борьбы он мог бы свободно привести разгневанного мужа в безопасное для себя состояние. Но предпочел его убить. У Трайвета сломаны позвонки. Он задушил его одним усилием. Это мог сделать или великан, или веревка палача... Потом уговорил свою любовницу бежать с ним, и все.

— Прекрасно. Миддлтон. Но как вы узнали о наружности убийцы, еще не видя медальона?

— Ну, а это, милейший, тем самым шерлок-холмсовский способом, над которым вы так смеетесь. Внимание к мелочам, друг мой, и больше ничего.

— Все это так, но нам ничего не дает ваше расследование. Оно — плод умозаключений, а нам нужны только факты.



сообщить вам нечто неотложное.

— Говорите.

— Только-что нам удалось задержать на Северном вокзале, русского агента Джона Рислинга. С ним была задержана какая-то женщина под вуалью, которая называлась мистрис Оливией Трайвет.

— Чёрт побери, —вскричал оживившийся Чайдльс, —у вас есть сейчас при себе его фотографическая карточка?

— Есть, сэр.

— Давайте живее, сюда.

Взяв в руки медальон и карточку, Борлез Чайдльс попеременно смотрел то на одну, то на другую. По его пришибленному виду я понял, что при всем его желании, он не мог не признать их одинаковыми.

ГЛАВА III. Семейный очаг и красная опасность!

Специальная статья для «Таймса»

известного журналиста

Гарри Грейнем.

Это не просто уголовщина. Можно смело сказать: здесь пахнет чем-то «идейным». Суд правильно поступит, если на этот пункт обратит особое внимание. Семейные основы и традиции Англии в опасности. Растворяющее влияние русской смуты не преминуло и здесь проявить себя. Повторю, побольше внимания к так называемой «идейной» сути дела. Не надо быть большим психологом для того, чтобы, сплетя все, хотя бы только явные подробности, с некоторым, так сказать, *curriculum vitae*¹ убитого и подсудимых, чтобы нарисовать яркую и действительную картину разыгравшейся трагедии.

I. Муж.

Чарльз Трайвет происходил из зажиточной и патриархальной семьи. Образование получил среднее и сейчас же после смерти отца вступил во владение небольшим колониальным магазином. На его руках остались мать и две сестры, о которых ему приходилось заботиться.

Он не обладал оригинальным, блестящим умом, но ему с детства были привиты честные и прямые взгляды англичанина и гражданина. С энергией и настойчивостью, свойственными ему,

1. Жизнеописание.

принялся он за расширение своего дела. Но лишь только к 35 годам, выдав замуж сестер и похоронив старушку-мать, он вспомнил о самом себе. Он был одинок, много заботился в своей жизни о других и ему, наконец, захотелось немного ласки и... жизненного счастья для самого себя. Как и всякому благоразумному человеку на его месте, ему стало ясно, что единственным оформителем его желания может быть только женитьба.

В его годы уже, не безумствуют и не клянутся, а любят искренно и благоразумно. Так он и полюбил. Его избранницей оказалась дочь соседа, тоже, хозяина колониального магазина — Оливия Джорникрофт.

Мистер Трайвет и мистер Джорникрофт порешили после свадьбы объединить свои торговые предприятия в одно большое компанейское дело.

2. Жена.

Но кто может знать, что творится в сердце молодой взбалмошной девушки? Это тайна заветных мечтаний, это большой бред после прочитанных бульварных романов.

Оливия Джорникрофт принадлежала к числу тех сентиментальных девушек, в которых здоровое английское воспитание перешиблено французским. До восемнадцатилетнего возраста она прожила в Лионе у бездетной тетушки. Матери она не помнила совсем. Отец, занятый своими торговыми операциями, не мог уделить времени на воспитание ребенка. И, естественно, совершенно не знал ее характера.

Джорникрофты жили замкнуто. Кроме деловых знакомых, никто у них не бывал... Оливия по целым дням сидела безвыходно дома. Французские романы, где героини прекрасные аристократки, а герои всегда почти-что бедняки, невероятно

храбрые и невероятно красивые, — проглатывала десятками. Отсюда и вывод. Первый мужчина, который сумел подойти к ней, учитя ее психологию, был увенчан лаврами успеха.

3. Любовник.

Джонни Рислинг, старший приказчик в магазине мистера Джорнкрофта, был молод и недурен собой. К 22 годам он потерял своих родителей и единственным близким ему родственным человеком была старая тетушка, жившая в Шонтсе.

Как-то мистер Джорнкрофт заметил, что дочь его бледнеет не по дням, а по часам. Два года прожила она у него, не выезжая даже на лето из душного города. Он решил нанять маленький коттедж где-нибудь в окрестностях. Джонни порекомендовал ему свою тетку.

Джонни и Оливия познакомились, поехав в Шонтс в одно из майских воскресений. Был полдень, на деревьях расцветали почки, вся природа ожидала, и в сердце неопытной Оливии, как ей показалось, расцвела любовь.

Домик тетушки сняли. И с тех пор все воскресные дни Джонни на правах племянника пропадал в Шонтсе. Близорукий Джорнкрофт ничего не видел в этом предосудительном, так что, благодаря добродушию старика, молодые люди встречались свободно. И кто скажет, какими клятвами обменялись они?

На второй год войны Джонни был мобилизован и отправлен на фронт. Через три года, будучи раненым, он в госпитале получил письмо от приятеля. Тот сообщал ему, что Оливия выходит замуж за мистера Трайвета. Сейчас же по выходе из госпиталя, Джонни помчался в Лондон, но, увы, Оливия была уже женой другого.

Еще в корне неиспорченный Джонни примирился с судьбой и, как видно, для того, чтобы заглушить терзания любви, уехал с

оккупационным корпусом в Россию. Вот где, по нашему мнению, и кульминационный пункт всего этого дела.

Россия свела его с пути. Джон Рислинг, англичанин и солдат британской армии, посланной во имя цивилизаций для усмирения разбушевавшихся варваров, перешел: на их сторону.

И вот через два года, в достаточной мере проникнувшись всяческими «идеями», Джон Рислинг с подложным документом приезжает в Англию.

Совратив молодую женщину, он начал употреблять все свое влияние на то, чтобы заставить ее согласиться на побег в Россию. Внезапный приход мистера Трайвета застал их врасплох. Дабы не подвергнуться моментальному аресту, Джонни убил его.

На первом следствии подсудимые утверждали, что они встретились впервые после 5-ти летней разлуки за $1\frac{1}{2}$ часа до прихода мистера Трайвета из магазина, что является, конечно, заранее продуманной ложью.

При чем убийца заявил: «Я ничуть не сожалею, что в целях самообороны задушил эту жирную свинью, кинувшуюся на меня с револьвером. Он оскорбил и ударил в моем присутствии свою жену, а со мной хотел поступить как с грабителем. Я поступил так, как поступил бы всякий живой человек на моем месте. Но вы палачи, (?) и ваш единственный закон — веревка. Так, беритесь же скорей за свои достойные обязанности, но помните лишь о том, что эта женщина ни в чем не повинна».

Мы уверены, что этот процесс будет показательным для тех, на ком оказывается растлевающее влияние русской смуты. Мы надеемся, что английские судьи будут судить со свойственной им пуританской строгостью и всечеловеческой справедливостью. Так кончалась эта статья.

ГЛАВА IV.

Борлез Чайдльс, начальник особого отдела Скотленд-Ярда сидел в глубокой задумчивости в своем служебном кабинете. Перед ним, на большом письменном столе лежали папки, помеченные красными буквами «Р». Он быстро пересмотрел их одну за другой и остановился на озаглавленной «Дело Рислинга».

Несколько минут «человек, который все знает о Красном заговоре», внимательно читал, потом вдруг резко и повелительно позвонил. Моментально на пороге выросла почтительная фигура дежурного агента.

— Приведите Рислинга и скажите Морфи, чтобы он ждал моих приказаний в соседней комнате.

Сэр Борлез Чайдльс одет был как видно для какого-то торжественного визита, потому что на его безукоризненном смокинге виднелась целая серия орденов. Высокий лоб с лысиной, хищный нос, въедливые глаза и небольшие усы, закрученные кверху стрелками, придавали ему вид проницательного и вполне респектабельного джентльмена. Ростом он был высок и худощав.

Как цыгане-повары свирепого, неподатливого медведя, ввели двое агентов высокого, красивого малого в наручниках, к которым прикреплена была длинная цепь. Начальник сделал им знак глазами они пододвинули арестованному глубокое кожаное кресло, незаметно соединив замочком цепь с приделанным к полу кольцом. Чайдльс кивком головы отпустил их.

— Такой молодой, такой молодой... Сокрушенный вздох всколыхнул его ровную грудь. — Что же делать, законы Англии беспощадны к убийцам. Единственная мера наказания — смертная казнь через повешение... Жалко вашу молодость, до слез жалко... Я понимаю, дорогой мой, какую трагедию вы пережили, но все же

уверяю вас, что передо мной, чувствующим к вам самое нежное, можно сказать, отеческое расположение, вы не должны продолжать носить маску отчужденности. Я вам советую, Рислинг, быть откровеннее, и тогда весьма возможно...



— Послушайте, вы там, дипломат! Не вводите меня в искушение. А то вот у меня явилось большое желание свернуть вам вашу поганую журавлиную шею.

Борлез Чайдльс продолжал, как бы всецело отдавшись своим мыслям.

— Война... Война... скольких людей ты надломила не только физически, но и духовно. Я понимаю, все можно перенести, если надеешься на ласку, на поддержку любимой, но... но что же делать,

если любимая принуждена обстоятельствами изменить тебе... О, это ужасные мучения. Поневоле ожесточаешься. А тут еще пребывание в стране, в которой царят разврат и грабеж, облаченные в идеиную мишуру... Не всякий устоит.

Понизив и до того тихий голос до шёпота:

— Есть услуги, за которые прощаются былые вины. Хороший кредит в банке и места на пароходе для того, чтобы уехать за океан с любимой женщиной... и для этого только несколько разоблачений, несколько списков...

Хруст суставов и болезненный вскрик внезапно раздались в прохладной тишине-кабинета.

Чайдльс перестал разыгрывать задумавшегося человека и внимательно посмотрел на Джонни. Тот лежал па полу почти в бессознательном состоянии. Из разорванной кожи вывихнутой кисти обильной струей текла кровь. Плохо знакомый с обычаями лондонской охранки, Рислинг не заметил, что его обезопасили, приковав к полу. Ринувшись в бешенстве на начальника, он вывихнул себе кисть правой руки.

Сэр Борлез крикнул в соседнюю комнату:

— Эй, Морфи!

Вошел низкорослый, рыжеватый парень, в лице и во всей фигуре его было что-то настолько зверское, что вместо штатского костюма, неуклюже сидевшего на нем, к нему так и просилась красная рубаха палача.

— Морфи, возьмите за ручку этого непослушного ребенка и научите его вежливости. Да не за ту вы беретесь. Не надо быть таким жестоким, Морфи, оставьте ему хоть одну руку здоровой. Поработайте с той, что уже окровавлена.

Рыжий послушно взял вывихнутую кисть и начал ее, умело вывертывая гнуть назад. Арестованный, чтобы па кричать от мучительной, невыносимой боли, прокусил насквозь губу.

Струйка крови потекла по его подбородку. Наконец, он не выдержал, и заглушенный стон вырвался из-за стиснутых зубов.

Борлез Чайдльс смотрел на нею пристально, как бы изучал его лицо.

— Можете идти, Морфи, — сказал он несколько минут спустя. — Ваши услуги мне больше не понадобятся.

Некоторое время длилось молчание. Первым заговорил начальник:

— Вы все еще упрямитесь.

— Позовите обратно вашего палача, негодяй. Вы, как видно, не рассчитали моих физических сил.

— Нет, вы ошибаетесь, дорогой мой. Что вы скажете, например, если мы устроим вам развлечение и постараемся сделать так, чтобы на виселицу пришлось идти не одному, а с подругой... не будем называть имён, я надеюсь, что вам понятно.

— Подлец, я задушу тебя. Я... я...

Опять хрустнули суставы. Борлез Чайдльс позвонил и с непроницаемым лицом следил за тем, как из кабинета выносили бьющееся в конвульсиях тело.

ГЛАВА V.

В дверь осторожно постучали.

— В чем дело, Гаррисон?

За дверью почтительный голос камердинера доложил:

— Сэр Борлез Чайдльс.

— А-а-а, — хорошо, хорошо, просите, Гаррисон, просите, сюда. Мэдж, дорогая, пройди, пожалуйста, на несколько минут в гостиную. У меня сейчас неотложное свидание. Извини и не сердись.

Шурша платьем, женщина удалилась. Камердинер распахнул дверь и на пороге выросла величавая фигура Чайдльса в безукоризненном смокинге с сияющими орденами.

— А-а-а, дорогой мой, рад вас видеть. Мы будем беспощадны с вами, не правда ли?

— Вполне согласен с вами, милорд, но видите ли, нам приходится иметь дело с людьми такого сорта, что с ними не так-то легко справиться.

— Милейший Чайдльс, действуйте какими хотите способами, но подготовьте все к предвыборной кампании. Не забывайте, что этого требует от вас благоденствие вашей родины... Дело, которое вы придумали, великолепно. Оно как нельзя лучше подействует на сознание мещан. Они начнут бояться за свое семейное счастье. Как бы там ни было, теперешнее чересчур либеральное правительство нам надо провалить. Хотите гавану, дорогой мой?

В полуутьме кроваво вспыхнули сигары.

— Но, милорд, а если действительно-но мы доведем эту женщину до эшафота?

— Ну что же, придется пойти на это. Побольше строгости, Чайдльс. Нам необходимо удерживать чем-нибудь народ от разврата и бесчинств. Ведь так, помилуйте, пожалуй, недалеко и до революции. Окажите, где былое английское пуританство? Нет, поверьте мне, женщина, забывшая о супружеской верности, вполне справедливо в древности побивалась камнями. Побольше пуританской строгости, Чайдльс.

ГЛАВА VI

В тот день, когда за Оливией Трайвет захлопнулась тяжелая, обитая сталью, тюремная дверь, все ее существо охватило дикое, страстное возмущение. Так внезапно сбросившая с себя оковы мещанской морали, она бурно протестовала против новой формы закрепощения. Потом наступила реакция. Она лежала на постели целыми днями и отказывалась принимать пищу. Начали опасаться за ее разум и жизнь. Но эта стадия прошла так же быстро, как и бешенство, заменившись спокойным сувово-хладнокровным пересмотром всех известных уже ей законов и обрядов, которые выработало общество, воспитавшее ее. Невольно она начала с религии. Вспомнился один из эпизодов, который произошел с ней в военное время. Как-то после церковной службы пастор по обыкновению взошел на кафедру и начал проповедь. Он говорил о благочестии и смирении, о гражданском и патриотическом долге, который все должны проявлять тогда, когда страна находится на военном положении. Случайно взгляд Оливии упал на группу инвалидов-солдат, и она вспомнила знаменитую заповедь «не убий», сравнила упитанного, лоснящегося пастора с этими обрубками, оставшимися от когда-то здоровых, сильных людей, и пришла в замешательство. Она никак не могла уяснить себе, почему этот сытый служитель божий вместо того, чтобы бежать на площадь и кричать там народу «о братстве всех людей и о христианской любви», так спокойно и лживо говорит им то, что противоречит законам его бога.

Несколько дней спустя тюремный пастор, посетивший Оливию, застал ее за подобными размышлениями. Она уставилась на него удивленными глазами.

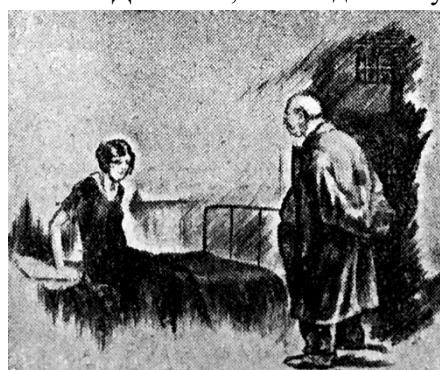
— Как, вы здесь тоже бываете? Значит, вы заодно с этими тюремщиками?

Он ответил смиренно, закатывая заплывшие глазки.

— Я всегда должен быть там, дитя мое, где мечется и страдает душа человеческая.

— Но ведь вы не можете оправдывать право одних людей судить других. Вспомните: «не суди и не будешь судимым».

— Дитя мое, вам надо не мудрить, а раскаиваться. Давайте лучше приступим к исповеди.



Оливия прогнала его, обозвав «Иудой, продающим церковь». Затем окончательно убежденная, наклеила на религию этикетку с надписью «ложь и лицемерие» и почувствовала, что один из узлов ее пут развязал.

Никогда раньше Оливия не задумывалась над тем, почему она живет праздно, в то время как другие люди должны вечно трудиться, чтобы иметь право на то необходимое, что ей доставалось так легко. Теперь она постаралась вникнуть в это. Ее отец и муж имели магазины, перешедшие к ним по наследству тоже от отцов. Вся их работа состояла лишь в том, что они ходили, заложив руки в карманы, распоряжаясь и командуя приказчиками. Последние работали, не покладая рук, и получали за это мизерную плату, в то время как первые, ничего не делал, выручали в тысячу раз больше. — «Почему же такая привилегия бездельникам? — задавала себе вопрос Оливия. И лежебокское право наследия чудилось гусиным ответом: «Ведь наши предки Рим спасли».

Наконец, она перешла к самому важному для нее вопросу. К вопросу о любви. И здесь имелись налицо те же факторы. Религия и собственничество.

Почему совершенно чуждый и нелюбимый человек стал ее мужем? Потому, что задурманенная церковными заповедями, она подчинилась отцу. Чем был соблазнен отец, продав, правда, вполне респектабельно, свою дочь? Выгодами компанииства. И, наконец, почему уже став взрослой женщиной, осознавшей ту ошибку, которую ее заставили сделать другие, она не могла исправить ее, уйдя от нелюбимого к любимому? Почему?

Ей вспомнились горящие возмущением слова Джонни в тот страшный вечер, когда она его увидела впервые после пятилетней разлуки. Он говорил: «Я ненавижу их подлые, сытые законы. Они пытаются закабалить не только тело и труд, но даже чувство, живое человеческое чувство. За эти пять лет, Оливия, я стал многое ненавидеть и научился любить лишь одно... Там, в мятущейся, ометеленной, голодной, нищей и несказанно великой России, я научился любил то, имя чему — Пролетарская Революция».

Видев все подробности убийства, она не могла осуждать его. Он защищал свою жизнь от озверевшего собственника. То, что он ей рассказал за время их короткого свидания о русской революции, укрепилось у нее в сознании и дало ростки. Но она понимала, что власть сейчас еще находится в руках собственников и они потревоженные каждый за себя, не дадут пощады любимому ею человеку. Лежа в постели, она повторяла все время:

— Но все-таки надо бороться... Надо бороться... бороться.

ГЛАВА VII

Первой мыслью Джона Рислинга была мысль о самоубийстве. Он хотел уничтожить в себе того человека, которым так дорожили в лондонской охранке. Не станет его, и не будет соблазнительной возможности выпытать у него что-нибудь и не будет мечтать этот палач в смокинге о грандиозно-шумном судебном деле.

Но очень скоро он убедился в невозможности выполнить задуманное. Тюремщики как будто видели его насквозь. И если судить по предосторожностям, которые они принимали, можно было бы подумать, что им известен малейший извив его мыслей.

Сначала он решил перерезать вены. Но, увы, ножей ему не подавали, ибо мясо и хлеб заранее нарезывались ему в кухне ломтями, а вилки, ложки и посуда были деревянные.

Потом мелькнула мысль о разорванных простынях, тугой петле и оконной решетке... Но этот план оказалось тоже немыслимо привести в исполнение. Оконная решетка была невероятно высока, а другого крюка не придумаешь. Даже голову размозжить о стены нельзя было, они были предусмотрительно обиты войлоком.

Но хуже всего донимал «глазок». Каждые две минуты он открывался и завораживающим взглядом гадюки смотрел в него безмолвный тюремщик.

Через несколько дней, после зрелого размышления, Джонни пришел к заключению, что он не имеет нрава убивать себя. Это малодушно. Пусть его процесс будет поучительным уроком для всемирного пролетариата. Ничего не значит, что пресса буржуазных стран загрязнит и заклеймит его дело. Кроме нее, есть еще другая пресса. Пресса той страны, откуда он так недавно уехал свободный и счастливый. Пусть мучают его, он не сдастся. Оливии

же они ничего не посмеют сделать, ибо это будет для всего мира явно чудовищным преступлением.

Он решил жить и ждать суда. Жить, не обращая никакого внимания на слова Борлеза Чайдльса, который со своею всегдашней ласковостью часто говорил ему: «Не правда-ли, дорогой мой, у вас там в России ещё нет до конца великолепно инсценированных судебных комедий некоторым власть имущим заранее был известен приговор? Так вот, значит, друг мой, известно и у нас, как говорится, в высших сферах, что вы и ваша любовница кончите на виселице. Вы смеетесь, вам, очевидно, очень приятно это известие? Подождите радоваться; милый. Это только цветочки, ягодки еще впереди».

ГЛАВА VIII.

Оливия открыла глаза. Возле се постели стоял высокий, худощавый мужчина. У него был высокий со взлысиной лоб, въедливые глаза и небольшие усы, закрученные кверху стрелками. Он сказал ей, протягивая руку:

— Здравствуйте, дорогая моя. Привет от вашего отца. Он просил меня заняться вашим делом.

Оливия приподнялась и села.

— Вы адвокат?

— Вы угадали, дорогая моя. Я адвокат и, кроме того, старый друг вашего отца.

— Почему же я никогда не видала вас?

— О, после того, как мы шалили в школе, с маленьким Оливером Джорнекрофтром прошло уже много, очень много лет.

— Как ваша фамилия?

— Генри Уентворт.

— Отец мне никогда ничего не говорил о вас. Но ваше лицо мне страшно знакомо.

Адвокат поежился под ее пристальным взглядом.

— Не может этого быть, я всего лишь две недели как приехал из Калькутты, зашел к старине Джорникрофту и узнал о вашем прискорбном деле.

Оливия ожила. В глазах засветилась радость. Она придвинулась ближе к собеседнику и, как бы стараясь отогнать пытливое желание вспомнить что-то, заговорила доверчиво:

— Вы будете меня защищать, не правда ли? Но знайте, я откажусь, если вы не возьметесь также за дело Джонни. Он не виновен. Чарльз бросился на него с револьвером в руке. Он защищался и только. Скажите, что его ожидает в худшем случае?

Адвокат печально покачал головой. И потом медленно, выбирая слова, как-будто ему трудно было это говорить, начал прочувствованным голосом:

— Будьте мужественны, дитя мое. Вы должны все узнать. Только будучи во всеоружии, вы сумеете защищаться. Его обвиняют в убийстве и прелюбодеянии. Вас в соучастии в этих... двух преступлениях... Вас обоих ожидает неминуемая... виселица...

Он ожидал, что она вскрикнет, забьется истерике. Но она только еще больше побледнела и крепче сжала его руку. Он продолжал, опустив голову:

— Вы любите его, вы молоды, и вы должны, спасти себя и его. Есть всего лишь один выход.

— Скажите его, скажите скорее.

Едва уловимый радостный огонек зажегся и потух в глазах адвоката.

— Видите ли, мне сообщил один влиятельный и сведущий человек, что наш... ну этот, как его. Рислинг... недавно только

тайно вернулся из России и что он будто принадлежит к этим, большевикам... Ну так вот, вам дали бы возможность уехать если бы... если бы Рислинг раскаялся и выдал нашему правительству здешних красных агентов...

— Бог мой, какая гнусность, какая гнусность! Неужели вы думаете, что смерть не лучше измени любому делу? Какая гнусность! — С внезапной подозрительностью всматриваясь в него: — Скажите, кто вам мог сделать такое омерзительное предложение и кто, наконец, так осведомлен о Джонни?

— А, дитя мое, есть у нас в Англии такой человек, которого недаром прозвали: «Человеком, который все знает о красном заговоре» ...

Оливия дико вскрикнула.

— И это вы. О, наконец-то я вспомнила. Я видела вашу фотографию в каком-то журнале. Только там вы назывались не Генри Уентвортом, а Борлезом Чайдльсом. Что вы на это скажете?

Он ответил спокойно. Лицо осталось непроницаемым, только тонкие губы скривились в жесткую улыбку.

— Ну что-же, тем лучше, если карты раскрылись. Теперь, по крайней мере, мы поговорим откровенно.

— Убирайтесь вон. Я ни о чем больше с вами не буду разговаривать:

— Ну, это еще нельзя знать, дорогая моя. Подумайте серьезно, советую вам, подумайте о том, что ожидает вас, если вы не поможете уговорить его дать показания.

— Замолчите, негодяй!

Он продолжал невозмутимо, стараясь придать голосу зловещие интонации:

— Позорное осуждение перед лицом всей страны.

— О, вы нас уже заранее осудили.

— И, наконец, самое ужасное — виселица. Подумайте, вас, молодую, красивую, жаждущую любви, ожидает дикая, ужасная смерть. Ваше розовое, прекрасное тело ощутит ожоги от отвратительных рук палача. На эту белоснежную гибкую шею набросят петлю. Грубая веревка сдавит, сдушит, переломит позвонки. Дикий танец выпляшут ваши ноги. Из этих коралловых губок прикушенный, синий, разбухший вылезет ваш маленький остренький язычок. Ваше дивное тело, созданное для любви, будут ласкать черви... Вы...

Оливия не слышала его последних слов. Она лежала без чувств. Борлез Чайдльс наклонился над нею. Дыхания почти не было заметно. Восковое лицо испугало его. Позвав надзирательницу, он медленным шагом вышел из камеры.

ГЛАВА IX.

— Сегодня во время общих свиданий к вам будет допущен отец, приготовьтесь.

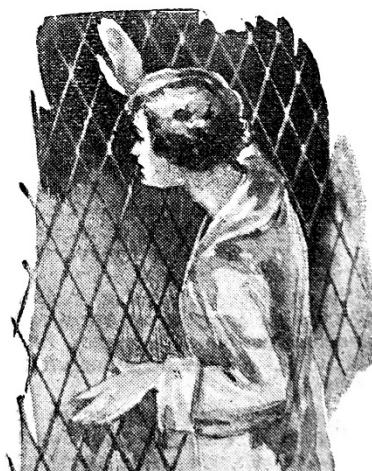
Отец... Известие о его посещении обрадовало Оливию. Увидеть хотя бы одного близкого человека, какое счастье. Одно только пугало ее, как он отнесся ко всему этому делу. Неужели поверил газетным известиям? «Дочь — развратница, дочь — вдохновительница убийцы». И потом вся эта шумиха, связанная с его именем. Ведь по его понятиям это — позор.

Свидания происходили в громадном зале, разделенном на три части решетчатыми стенами. Посредине две стены из стальных брусьев образовывали между собой узенький коридорчик, по которому прохаживались два сторожа. С одной стороны, прижавшись изможденными лицами к решетке, находились заключенные, с другой — посетители.

Оливия, войдя, прежде всего увидела Джонни, который разговаривал со своей тетушкой из Шонтса. Взглянув на его исстрадавшееся лицо, она не удержалась от вскрика. Джонни, вздрогнув, обернулся и, увидев ее, побледнел. Все обратили на них внимание. Оливия, не желая видом своих мучений доставлять удовольствие тюремщикам, быстро оправилась и подошла к той стороне решетки, за которой стоял ее отец.



Мистер Джорникрофт
держался чрезвычайно
растерянно. На его лице как будто
был плакат с надписью: «Глядите,



— вот изумление честного человека, обвиненного в краже». Оливии было неприятно его смущение. Она ожидала увидеть отца, испуганного участью дочери, страдающего ее страданиями и вдруг... сытое, холеное лицо под маской брезгливого смущения.

— Папа, папочка, что же это будет? Неужели меня не выпустят под залог до суда? Я нахожусь здесь в ужасных...

— Оливия, я пытался... невозможно по... политической необходимости ты... ты должна в... строгой изоляции...

— Говорите только о семейных делах. — прервал его строгий оклик сторожа.

Мистер Джорнкрофт еще больше смутился.

Оливия смотрела на отца и как будто читала его мысли. Дрожь отвращения пробежала по ее телу.

Оливия вдруг круто повернулась и отошла от решетки, даже не прощавшись. Подойдя к надзирательнице, она сказала сдавленным голосом:

— Ведите меня обратно.

— Но ведь еще срок...

— Ведите. Я надеюсь вы не заставите меня вернуться и почтительно целовать ему руку.

В камере, опустившись на постель, она повторяла беззвучно;

— Одни... одни... одни...

ГЛАВА X.

Бетси Беттеридж два года прожила в Париже. Как и все английские аристократки, она преклонялась перед его модами, кутежами и безобразными оргиями, которым предавалось его высшее общество. У себя в Лондоне во внешней и интимной жизни она старалась во всем подражать своей парижской подруге Лилиан Монтею.

— Я ставлю своих тысячу против твоих пятисот, Курт, что сегодня вечером ты не будешь скучать.

Молодой джентльмен, прикрыв тонкой холеной рукой зевающий рот, безразлично спросил:

— Что такое...? Неужели ты монополизировала японские землетрясения, и мы впервые ощутим у нас в Лондоне толчок? Курьезно будет посмотреть, как все это стадо твоих знакомых, делающих вид, что им весело, полетит вверх тормашками.

— Оставь свои насмешки, Курт. То, что ты увидишь сегодня вечером, будет для тебя чрезвычайно интересно.

Бетси в небывалом восторге так высоко забросила одну ногу на другую, что и без того короткая юбка задралась выше колен.

— У нас сегодня будет палач. Но только не французский, а английский. Не думай только, что ты увидишь грубого, зверского на вид детину, который своими узловатыми ручищами отправляет на тот свет десятки преступников. Нет, ты увидишь утонченного, изящного, вполне светского джентльмена. Он мне сам рассказывал о том, как он пытает политических заключенных. Имя его сэр Борлез Чайдльс.

Через полчаса в салоне Бетси уже все и все были на местах. Восходящая звезда поэзии Уильям Ллойд при шумном одобрении закончил чтение своей новой поэмы: «Ножки, вызывающие страсть», потом известная танцовщица-негритянка Джо-Бой исполнила танец живота, во время которого лорд Бредзбери беспрестанно вытирая сладкую струйку слюны, стекавшую по подбородку на белоснежную манишку, и, как ему показалось, испытывая в течение десяти минут то, что у него отсутствовало в течение последних десяти лет — возможность любить. И, наконец, после знаменитого композитора — педераста Роберта Бриджа, сыгравшего свою последнюю симфонию «о любви могучего Джона к слабенькому Билли», выступил Борлез Чайдльс. Артистическим жестом поправив и без того безукоризненно вывязанный галстук, он начал говорить плавным,ластным голосом:

— Наша очаровательная хозяйка лукаво сообщила мне, что в вашей интимной компании всякому ее члену дают прозвище. Я не избежал этой участи и отныне гордо буду отзываться на имя «палач»... да, если хотите, я, действительно, палач, но палач особенный, культурный, утонченный, а, главное, сознательный.

Как хороший садовник путем отбора лучших растений и уничтожения худших достигает необыкновенного расцвета в своем саду, так и мы, культурные государственные палачи, на протяжении тысячелетий работали во имя грядущей цивилизации. Какое нам дело до мрака, холода и голода, которым подвержены мразь и ничтожество. Ведь все равно, по непреложному биологическому закону, слабые гибнут для того, чтобы сильные по их трупам шли к счастливому будущему.

В такт его речи лорд Бредзбери одобрительно покачивал головой и переходил от одной насторожившейся группы прелестниц к другой, волоча по ковру парализованную ногу. Лорд здорово пожил в былые годы.

— Нас не трогают стоны рабов, мы хотим жить сильно и красиво. Во имя этой красоты я готов отправлять на виселицы сотни тех варваров, которые называются большевиками. Но я их пытаю не только физически, я пытаю их духовно, утонченно, культурно. Для того, чтобы уберечь цивилизацию от их грязных ручищ, я готов купаться, пить вместо шампанского их звериную красную кровь.

Он кончил. Глаза его хищно сверкали, крылья носа трепетали, как будто он вдыхал уже запах грядущих убийств.

Салон замер. Бетси торжествовала: Положительно ничего подобного в Париже она не видела. Ее салон побил рекорд оригинальности.

В ту же ночь сэр Борлез Чайдльс был награжден ею по заслугам.

ГЛАВА XI.

Оливия все время своего предварительного заключения, все время судебного разбирательства, до последней минуты перед оглашением приговора надеялась на оправдание Джонни. О своем собственном осуждении она и не помышляла. Угрозы Чайдльса она так и считала только угрозами. Но вот свершилось. Завтра в 8 часов утра они будут повешены...

«В восемь часов утра»....

Весь путь от здания суда до тюрьмы сквозь возбужденную толпу, провожающую их жадными любопытными взглядами, в тюремном автомобиле, между вооруженными констеблями она проделала в оцепенении. В камере внезапно закружилась голова. Истошно заныло сердце. И вдруг она впервые ощущила у себя толчок под сердцем. Он шевелился. Он давал о себе знать, он не хотел умирать, ее ребенок. Оливия замерла. Потом вдруг с дикой силой начала колотить кулаками в дверь. Повернулась форточка глазка, безразличный взгляд пополз по камере, ощупал всю ее фигуру и равнодушно исчез. Разбив до крови руки, она вдруг обессиленла и, опустившись на пол, завыла. Она выла долго, протяжно. Так воет волчица, когда у нее похищают детеныша.

Прошло несколько минут. Опять равнодушный взгляд пощупал камеру и исчез, а Оливия все выла громко, безумно, исступленно...

ГЛАВА XII.

На большом письменном столе «милорда» лежал свежий номер «Таймса», на котором синим карандашом было обведено место:

«Вчера при большом скоплении публики был оглашен приговор по делу об убийстве Чарльза Трайвета. Обвиняемый Джон Рислинг, в убийстве сознавшийся, и соучастница его, Оливия Трайвет, жена убитого, в соучастии и в подготовлении убийства не сознавшаяся, приговорены к смертной казни через повешение. Приговор должен был быть приведен в исполнение сегодня, в 8 час. утра, но ввиду того, что врачебной экспертизой была установлена 5-месячная беременность осужденной Оливии Трайвет, исполнение приговора над нею и над ее соучастником Джоном Рислингом отложено на 4 месяца. После родов ребенок будет отдан родственникам убитого, а осужденные понесут заслуженную кару».



Борлез Чайдльс, наклонив с почтительным вниманием голову, слушал небрежные фразы своего знатного собеседника.

— ...Итак, дорогой мой, своего вы добились, их обоих ожидает эшафот... Эта отсрочка на 4 месяца вам сыграла в руку.... У вас есть время, и весьма возможно, что вы вынудите его дать показания... Во всякое случае, сам по себе процесс был для нас полезен... Нет, я доволен вами, я весьма доволен вами... Если на предстоящих выборах мы получим большинство, я постараюсь кое-что преподнести вам... Весьма доволен...

— Я счастлив, милорд, быть вам хоть чем-нибудь полезным... — Борлез Чайдльс понизил голос. — Но хотел вас спросить, милорд, а что, если этот Рислинг, действительно, даст показания... неужели... разве... по-моему, освобождение его?..

— Да, да, обещайте, но...бог мой,
Слово джентльмена закон... но... но родина...
Борлез Чайдльс еще ниже опустил голову.
— Я понимаю вас без слов, милорд.

ГЛАВА XIII.

Он будет жить, ее ребенок. Его пощадили совсем, а ее... ее на четыре месяца, четыре месяца нечеловеческих мук...

Каждый день приходил в камеру сэр Борлез Чайдльс и обещал пощаду, обещал свободу ей и Джонни, только чтобы... Она выгоняла его и потом, оставшись одна, кусала губы, чтобы не было слышно рыданий, царапала лицо и рвала подушки конвульсивно скрюченными пальцами. С ужасом, со злобой смотрела на увеличивающийся с каждым днем объем живота. День его жизни будет днем их смерти.

Сестры убитого, заботясь о будущем ребенке брата, добились того, чтобы Оливию перевели в тюремную больницу. Она играла для них роль несгораемой кассы, хранящей драгоценный предмет. И постепенно страстная жалость к ребенку сменилась ненавистью.

Кем будет он, воспитанный в гнусных традициях теперешнего общества? Оливия была бы согласна на все, если бы это был ребенок Джонни, если бы она знала, что он вырастет в заветах ненависти к убийцам его матери и отца.

Оливия стала бояться за свой рассудок и за рассудок Джонни. Она боялась, что они не вынесут этих четырех месяцев пощады... И постепенно созрела мысль о самоубийстве.

В один из вечеров, после сильного нервного припадка, сиделка вспрыснула ей морфий. И на следующий же вечер, удачно симулируя припадок, Оливия с радостью увидела, что сиделка принесла знакомую уже ей коробочку с ампулами. Когда она, наполнив шприц, подошла к ее постели, Оливия, внезапно успокоившись, попросила:

— Погодите немного, Мне сейчас лучше. Если не удастся заснуть, я вам скажу, и вы вспрыснете мне. А напрасно я не хочу этого делать, потому что потом плохо себя чувствую.

Сиделка согласилась с ее доводами. Положив на ночной столик коробочку с ампулами и шприц, она села на табурет возле ее постели. Через час Оливия услышала ее ровное дыхание. Утомленная женщина заснула. Выждав несколько минут, Оливия с кошачьей ловкостью достала коробочку и, подражая сиделке, осторожно обломила кончики ампул. Трехграммовым шприцем в три приема она вспрыснула себе в руку девять ампул.

За короткое время ее посетил целый сонм разнообразных видений, но даже самые нежные из них не могли ее растрогать. Она оставалась безразлично-спокойной. И только в тот момент, когда многопудовая тяжесть сковала ее тело, в сознании огненными буквами выжалось одно лишь слово: «живь».

Но в ту же секунду Оливия провалилась в сонливость... в небытие...

ГЛАВА XIV

«...Я, Джон Рислинг, накануне смерти своей, признаюсь в том, что; будучи солдатом оккупационного корпуса 15 стрелкового полка его величества, подкупленный большевиками, перешел да их сторону. Впоследствии посланный на подпольную работу в колонии его величества в Египет, вел подрывную работу, снабжая некоторые военные организации оружием и пропагандными брошюрами. На месте я убедился, что золото большевиков играло не малую роль в убийстве генерала Ли-Стек. Перед смертью, искренно раскаявшись, с глубоким прискорбием думаю о своей преступной деятельности.

Джон Рислинг.

Лондон, Тюрьма Тауэр. 7 мая 1925 г.»

... Джонни смеялся. И только жилы, надувшиеся на его лбу, выдавали то напряжение, с каким он сдерживал себя.

Борлез Чайдльс подошел к нему и, показывая тонко подделанный почерк, злорадно спросил:

— Тонкая работа, не правда-ли? Это смастерили неоднократно уже знакомый вам Морфи. Прекрасно работает, как ваше мнение?

— Я вижу, Рислинг, что у вас сегодня весьма смешливое настроение. Я попытаюсь вам доставить еще большее удовольствие. Вы сейчас будете хохотать прямо-таки без удержу, узнав о том, что небезызвестная вам Оливия Трайвет вчера отравилась морфием. А вот, если хотите, и карточка,

сфотографированная в момент вскрытия тела, а вот и сегодняшние газеты...

Джонни смеялся. Глаза его налились кровью, из Горла вырывался неудержимый, клокочущий, смешанный с рыданиями смех....

ГЛАВА XV.

На другое утро во дворе знаменитой лондонской тюрьмы Тоуэр был повешен «большевистский агент» и убийца Чарльза Трайвета — Джон Рислинг.



Все время осужденный смеялся страшным, безумным смехом.

Смеялся, отталкивая пастора, желающего спасти его грешную душу, перед репортерами, фотографирующими его, смеялся, восходя на эшафот, в руках палачей и даже в петле сохранил страшно-веселую смертную гримасу, в порыве душившего хохота и веревки высунув палачам язык.



Земля

повесть

ГЛАВА I Возвращение

1

У дороги, ведущей через «уэрту»¹ в город Валенсию, сидел человек.

Человек ел огурец. Зеленые ленты лежали у его ног. Огурец был изогнутым, как банан. Человек сидел на пне срубленного дерева. Могучие корни стлались по земле лапами дракона. Медная рукоятка перочинного ножа сверкала на солнце, как золото. Трава, усеянная яркими цветами, колыхалась у ног человека. Солнце стояло высоко в небе. Золотые нити света трепетали в горячем воздухе.

Человек вздохнул полной грудью. Сияющими глазами оглядел окрестность. Это был гордый взгляд хозяина. Разве все это не принадлежало ему? Разве жизнь не была прекрасной?!

Человек отер подбородок тыльной стороной руки. У него было изможденное лицо с лихорадочными пятнами на щеках. Пыльные лохмотья едва прикрывали его истощенное тело. Но в его глазах сверкали искры радости. Здесь, в «уэрте» — деревня, в которой он родился, в которую возвращался после долгих лет отсутствия.

Радость преходяща, как окраска неба. За этот час, который человек просидел задумавшись, стало пасмурно, тучи покрыли небо. Ветер поднял и завертел пыль на дороге.

1. «Уэрта» — плодородная долина, изрезанная оросительными канавами и канавками

Человек закашлялся. Он кашлял долго, сухо и надрывно. Глаза у него стали влажными и тусклыми. Он уже не окидывал окрестность гордым взглядом хозяина. Он сидел скорчившись. Человека трясла лихорадка, изо рта хлынула кровь...

Упали первые крупные теплые капли дождя. Дождь прибивал пыль к дороге.

По дороге шел высокий, широкоплечий крестьянин. У него было суровое, угрюмое лицо с упрямым подбородком. Тяжелые складки раздумья лежали над углами узких губ. Крестьянин шел из Валенсии от землевладельца. Землевладелец дон Антонио Мелендец был безжалостен — не согласился на вторую отсрочку

арендной платы. Крестьянин шел, сгибая могучие плечи, —нес угрозу о выселении.

Вот уже виден участок, который возделывали его деды, его отец, он сам. В течение многих лет они поливали этот клочок земли потом и кровью. Он привык

считать его своей собственностью. Он заслужил это право тяжелым, непосильным трудом. Теперь другой будет собирать его хлеб. Крестьянин поднял сжатый кулак и погрозил им в ту сторону Валенсии.

Глухой стон привлек его внимание. Он оглянулся. На зеленом лугу у дороги, уткнувшись лицом в траву, лежал человек.

Крестьянин подошел к нему, но человек не шевелился. Тогда крестьянин наклонился над ним и перевернул его на спину. Хриплое дыхание вырвалось из груди лежащего.



У дороги, уткнувшись лицом в траву, лежал человек...

— Мигуэль! — глохо вскрикнул крестьянин и поднял с земли бессильное тело.

Чахоточный с трудом открыл мутные глаза, оглядел лицо крестьянина и запекшимися губами уронил едва слышно:

— Висенте... ви... — глаза его закрылись. Крестьянин почувствовал на своих руках неожиданную тяжесть бесчувственного тела.

2

Праздничай лентой вьётся дорога. По обе ее стороны выстроились стройные, широколистственные тополя. Спадает полуденный зной.

Девушки с кувшинами на голове идут по дороге ритмической походкой, держатся ровно, не сгибая ни талии, ни шеи, будто скользят по проволоке.

Девушки идут за водой к древнему бассейну. Бассейн — четырёхугольный водоем, выложенный красным камнем. К воде ведут стертые, скользкие ступени, позеленевшие от сырости и времени. Рябит вода от подземных ключей, бьющих из песчаной почвы. Спутанные водоросли разметались по ней.

Наполнив кувшины, девушки садятся на ступени, свесив ноги к воде. Прогулка к бассейну для них — не труд, а удовольствие. Здесь, вдали от суровых окриков отцов и матерей, можно посидеть с подружками и посудачить вволю. Вот сидит смуглая, как цыганка, и ехидная, как змея, Люсинда. Вот хохотушка и болтунья Леонора. Вот угрюмая рябая Анунциата. Вот любимица всей «уэрты» Розарио Сальватерри.

— Розарио сегодня скучная, — говорит Леонора для того, чтобы хоть что-нибудь сказать, и неизвестно почему смеется.

— Будет скучной. Висенте теперь уже наверняка не женится на ней. Самому хлеба не хватало, а теперь еще лишний рот

прибавился, — говорит Люсинда и ехидные глазки ее бегают по лицам подруг.

— А что красавице Розарио до того, женится или не женится на ком-нибудь урод Висенте? — спрашивает удивленная Леонора и становится на минуту серьезней.

— В самом деле, что Розарио до Висенте? — подхватывают хором девушки.

— Уж вы молчите. Я знаю, если говорю, — Люсинда многозначительно поджимает губы.

Любопытство девушек разожжено. Даже молчаливая Анунциата не выдерживает расчетливей паузы Люсинды:

— Ты всегда все знаешь! Врешь ты все! А ну скажи, что знаешь!

Люсинда вскакивает на ноги.

— Будто вы все не замечали, что Висенте Реновалес сохнет по Розарио. Сохнет и молчит, потому! что он беден, как церковная крыса, и горд, как епископ. Он никогда не сделает предложения девушке, если знает, что ему ее нечем прокормить. А тут еще на его голову свалился больной брат.

Пепита, дочь учителя, оглянувшись по сторонам, шепчет:

— Я слышала от отца, что Мигуэль Реновалес стал в Барселоне анархистом... был арестован, осужден и бежал из тюрьмы.

— Он болен чахоткой.

— В тюрьме заболеешь.

— Замучили.

— Вероятно скоро умрет.

Леонора захлебывается от восторга, — она тоже может кое-что сообщить:

— Мать говорила, что у Висенте Реновалеса был еще один брат — Бальтазар. Совсем маленьким мальчиком он видел в Валенсии во время ярмарки акробатов в балагане и бежал с ними. Так без вести и пропал.

Розарио сидит молча, будто не слышит, что говорят подруги. Люсинда окидывает всех торжествующим взглядом.

— Ну, разве я не права? Поглядите на нее: сидит, как в воду опущенная.

— Может быть она больна? — вступается за подругу Пепита.
— Посмотрите, какая она бледная!

Люсинда ехидно хихикает:

— Ну уж и больна! Просто влюблена как кошка. Я уже примечала за ней: как увидит или услышит что-нибудь о Висенте, так в лице меняется. Ничего, что лицом он не красивый. Зато нет никого сильнее его в «уэрте». Никто так метко не стреляет дичь, как он. Никто так не работает. А кто еще так честен, терпелив и горд, как Висенте Реновалес?! Нет, говорите, что хотите, а я на своем век стоять буду: тоскую Розарио по Висенте, — вот!

— Все ты брешешь, проклятая цыганка, как паршивый пес на луну! — проговорила Розарио, вставая и сердито хмурясь.

3

Хлеб в этом году взошел на-диво — наливным золотом.

Тяжелый колос клонился к земле. С утра до ночи крестьяне жали осыпающийся колос.

Уже несколько часов, не разгибая спины жал Висенте. Мокрая рубаха липла к телу. Пот градом катился по загорелому его лицу. Наконец он бросил серп на сжатую, торчащую ежом полосу и с наслаждением разогнул спину.

Навстречу шел Мигуэль с крынкой молока и краюхой хлеба. Усевшись на земле, братья стали полдничать. Висенте ел медленно, с крестьянской важностью. Мигуэль с наслаждением тянул из кружки парное молоко. За три недели он окреп и поздоровел. Щеки его покрылись ровным загаром и глаза не казались такими ввалившимися, как раньше. Поев Мигуэль попробовал было заменить брата в жатве. Подняв с земли серп, он

стал жать, неловко поводя плечом, но быстро устал. Дыхание стало затрудненным, глаза налились кровью.

— Брось, Мигуэль, не истомляй себя понапрасну, хватит с тебя на сегодня работы! — сказал Висенте с суровой ласковостью.

Мигуэль нехотя бросил серп и тяжело опустился на землю. Лицо его покрылось серой бледностью, на лбу собирались морщины.

— Какой к чёрту я теперь работник, —сказал он с горечью, —на свалку меня надо. Вот что!

Висенте положил тяжелую узловатую руку на плечо брата.

— Тебе сейчас работать нельзя, да и не нужно. Я сам справлюсь. Отдохни, соберись с силами, сдружись с землей, земля вылечит,

Мигуэль лежал на земле лицом вниз. Сладкие густые испарения ласкали ноздри. Земля была пропитана благодатными соками. В Мигуэле проснулся крестьянин. Он распахнул на груди рубаху, голой грудью прижался к земле. В каждой поре его тела звенела горячая радость:

Земля, земля!!

Горькая полынь трудового пота делает тебя плодородной.

Человеческая кровь насыщает тебя...

Горячим золотом колосьев даешь жизнь.,.

Земля, земля!!

ГЛАВА II Плотина прорвана

1

Быстрые желтые воды Гвадалквикира вертели мельничное колесо.

У мельницы стояли крестьянские подводы. Крестьяне свозили на помол только-что снятый хлеб. Гул их гневных голосов

соперничал с шумом плотины. Мельник, чернобородый детина, окруженный дюжими подручными, кричал, размахивая руками:

— Воля не моя! Дон Мелендец хозяин, дон Мелендец распорядился. Воля не моя. Делайте, что хотите!

Большинство крестьян «уэрты» арендовало участки у дона Антонио Мелендеца. Он же был владельцем единственной в «уэрте» мельницы. Спокон века размер арендной платы за землю и платы за помол колебался в зависимости от каприза владельцев. «На то и богач, чтобы измываться над бедняком». В «уэрте» не было крестьян-собственников. Были арендаторы, были батраки. И те, и другие были бедняками. И те, и другие гнули спины в непосильной работе. И те, и другие растили ненависть к хозяевам. Но землевладельцы «уэрты» все же были осторожны, чтобы не вызвать грозы. Они обходили крестьян с изворотливостью торгашей и там, где нельзя было взять силой, брали хитростью. Они объединили вокруг себя более зажиточных арендаторов, играя на их инстинктах мелкого собственничества. Самым сильным средством, которым воздействовали на чересчур строптивых и недовольных, был пятивековой обычай суда по делам орошения, собиравшегося по четвергам в Валенсии на паперти св. апостолов. Синдики и атандоры¹, якобы выборные от крестьян, на самом деле были ставленниками землевладельцев, являлись теми более зажиточными арендаторами, на инстинктах мелкого собственничества которых и делалась ставка. Им давалась в руки большая власть над бедняками, но рычаг этой власти находился в руках землевладельцев. Власть эта была действительно страшной и неизмеримой: семеро синдиксов (семеро

1. Синдик — судья; атандор — смотритель канала, распределяющий очередь на поливку

по числу каналов) в черных балахонах и белых башмаках бесстрастно выслушивали атандоров и подсудимых, после чего выносили безапелляционные приговоры, от которых зависела жизнь крестьян, так как несвоевременная поливка губила урожай. Строптивые и недовольные, вызвавшие гнев землевладельцев, а засим и гнев и приговор суда по делам орошения, боялись этого гнева и приговора больше, нежели гнева и приговора государственных властей.

Однако эти хитрые, жестокие средневековые способы закрепощения не могли умерить справедливой ярости крестьян, если изdevательства землевладельцев переполняли чашу терпения. На этот раз ярость крестьян была доведена до пределов. Дон Антонио Мелендец повысил плату за помол настолько, что, если бы крестьяне согласились ее платить, им пришлось бы голодать три четверти этого года.

Весть о неслыханном злодействе (иначе крестьяне не отзывались о происшедшем) мигом облетела всю «уэрту». Приток повозок с хлебом прекратился, но не прекратился приток крестьян. Они сбегались, как на пожар. У большинства в руках были узловатые палки, а кое-кто прихватил и ружья, обычно висящие за дверью в каждом домике «уэрты».



Крестьяне сбегались к мельнице со всей уэрты...

Размахивая кнутовищами, палками и ружьями, крестьяне напирали на мельника. Впереди толпы стояли рядом угрюмый

Висенте Реновалес, седой Гаспар Сальвательери (отец Розарио) и забияка Педро Гарсия.

— Что же нам теперь всем в воду? Что мы будем делать с хлебом? — спрашивал недоуменно у окружающих Висенте глухим от волнения голосом. Он заплатил аренду и снял хороший урожай; думал, что все пойдет на-лад, и вдруг новая беда.

— Зачем в воду? В воду надо чернобородого, а за ним и старишку Мелендеца! Пусть покормят рыб! Тогда узнают как с нас шкуру драть! — кричал Педро Гарсия.

— В воду его, в воду! — подхватили крестьяне.

Мельник с подручными благоразумно убрался на мельницу, защелкнув массивную дубовую дверь огромной щеколдой...

2

Две недели назад в Мадриде произошел эпизод, повлекший за собой неосторожный поступок дона Антонио Мелендеца — повышение платы за помол.

В центре Мадрида едва ли не рядом с дворцом Монтечирио, где помещаются «кортесы» (испанский парламент), предпримчивый бельгиец Марке, темный делец и друг короля, выстроил казино. В нижнем этаже помещается каток, в остальных — рулетка. «Ледяной дворец», так называется это здание, стоил предпримчивому бельгийцу бешеных денег. И совершенно напрасно. Не стоило тратить денег на постройку нового дворца, когда рядом, после захвата власти генералом Примо-де-Ривера, вот уже шесть лет пустует здание «кортесов». Предпримчивый бельгиец обучился. Невдомек ему было, что правительство, стоящее на краю банкротства, за бесценок отдает в наем под казино бесполезный ныне дворец Монтечирио. Случился же недавно факт, граничащий с анекдотом. Заезжий художник, не зная, где расположиться со своей выставкой, вспомнил о пустующем здании парламента, самовольно проник

туда и два дня процветал, пока его не выставила мадридская полиция.

Предприимчивый бельгиец обучился, но не прогадал. «Ледяной дворец» стоил бешеных денег, но зато и приносил бешеные доходы. Круглые сутки за овальными столами сражались на зеленых полях доблестные представители «хунт» и «соматенов» — офицерских фашистских союзов. Порой здесь выигрывались состояния, но большей частью блестящие лейтенанты, поручики, капитаны и генералы писали в далекие провинции отчаянные послания отцам, материам, управляющим с просьбами, с требованиями о срочной высылке денег для спасения чести мундира...

«Ледяной дворец» сверкает огнями. Вращается в бешеной пляске азарта пестрый круг рулетки. Дон Хуан Мелендец, поручик гвардии его величества, доблестный член «хунты», сейчас невменяем. Для него ничего не существует сейчас кроме мелькания пестрых рубашек карт и подсчета очков.

Генерал Санхурхо, личный друг Примо-де-Ривера, мечет банк. Банк убивает карту за картой вот уже двенадцать раз подряд. Генералу везет. Мелендец проигрывает. Вокруг стола, за которым они играют, сгрудились возбужденные зрители.

— Делайте игру, синьоры! Объявляйте ставки! Двадцать тысяч банко! — визгливо возвещает крупье.

— Полностью! — хрипло говорит дон Хуан Мелендец и поднимает карты холодными, негнувшимися пальцами.

— Восемь! — объявляет Мелендец.

Генерал Санхурхо открывает свои карты. У генерала — девять. Мелендец проиграл...

Это произошло две недели назад. Дон Хуан Мелендец много поставил в ту, ночь на карту, больше нежели сам думал. Помимо двух тысяч собственных денег, помимо восемнадцати тысяч казенных из кассы почка, выданных ему на фураж, он поставил на карту жизнь отца.

В одном из глухих переулков города Валенсии стоит мрачный, низкий дом с колоннадами. В этом переулке еще сохранились лавки менял. С древних времен остались в этих лавках грязные мраморные прилавки, о которые звенели монеты с профилем Карла V.

Еще издали можно определить кому принадлежит этот мрачный дом с колоннадами. Вдумчивый прохожий решает сразу: дом принадлежит ростовщику. В этом доме живет дон Антонио Мелендец. Сухонький старичок с горбатым, хищным косом, в черном заплатанном плаще и широкополой шляпе на седых нечесанных кудрях.

Дон Антонио нажил капитал скопидомством, мелким ростовщичеством и эксплуатацией земельных участков в «уэрте».

Пожираемый жаждой наживы, он был одержим вечной боязнью разорения. В молодости жажда наживы была целью, в зрелые годы превратилась в привычку, в старости стала бессмысленной, болезненной самоцелью.

Когда дон Антонио получил из Мадрида письмо от сына с мольбою о высылке двадцати тысяч, он едва не рехнулся. Расстаться с деньгами было для него равносильно тому, чтобы расстаться с рукой. Но наследник угрожал самоубийством, молил спасти его от бесчестия, от суда, который грозил ему за растрату казенных сумм.

Дон Мелендец выслал сыну деньги после долгих бессонных ночей и, чтобы хоть как-нибудь наверстать высланную сумму, увеличил плату за помол на своей мельнице. И на другой же день после этого ему стало известно о беспорядках в «уэрте». Крестьяне едва не сожгли мельницу. Их удержал от этого поступка Мигуэль Реновалес, предложивший логический выход, идущий вразрез с упрямством крестьян. Мигуэль предложил свозить зерно на помол

в Валенсию на паровую мельницу. После долгих споров крестьяне последовали его совету. Теперь дон Антонио готов был пойти на любые уступки, но мельница пустовала.

Потрясенный всеми этими событиями, стариk находил единственную отраду в своих апельсиновых садах. Он ходил туда пешком из города, завернувшись в старый, заплатанный плащ.

В одну из таких прогулок дон Антонио Мелендец был убит выстрелом из ружья. Следственные власти не могли собрать по этому делу никакого материала. Никто ничего не видел и не знал. Были все основания предполагать, что убийство совершил кто-нибудь из крестьян «уэрты», но искать убийцу в «уэрте» — все равно, что искать иголку в стоге сена. Следственные власти за неимением улик махнули рукой на это дело, и оно само по себе заглохло.

Может быть его убил порывистый, вспыльчивый, как порох, стариk Сальвательерри — отец красавицы Розарио, может быть забияка Педро Гарсиа. Кто знает?

ГЛАВА III **Я убил старила Мелендеца**

1

Несколько мальчиков неистовым криком всполошили всю деревню:

— Идут! Идут! Идут!

Крестьяне выходили на крик, лениво потягиваясь.

— Чего раскричались, щенки?!

Возбужденные, запыхавшиеся мальчики с трудом выговаривали слова:

— Идут!.. Педро Гарсиа и Диего Матиас идут!..

Педро Гарсиа, забияка, меткий стрелок и пьяница, славился на всю «уэрту». Парни подражали Педро с почтительной

завистью. Соперничать с Педро в лихих проделках осмеливался один лишь Диего Матиас.

Два дня назад Педро, собираясь на охоту в болото, обещал принести столько битой птицы, что ее должно было хватить на ужин всей деревне. Диего вызвался настрелять больше Педро, но уж во всяком случае не меньше. Педро поднял Диего насмех. Диего взбеленился и предложил Педро заключить пари: проигравший, т. с. настрелявший меньше, ставит деревне три бочки вина. Соперники отправились на болото с большими запасами пороху, дроби и провизии. Два дня мальчики сторожили у болот, чтобы возвестить в деревне возвращение охотников.

Охотники шли не спеша, вразвалку, обвешанные патронашами и сумками, тяжело опираясь на ружья. Высокие сапоги их были до колен облеплены грязью, платье во многих местах изорвано и испачкано.

Крестьяне обступили охотников и повели их в трактир Гонзалеса. Висенте и Мигуэль, зараженные общим любопытством, присоединились к шумной толпе. Наступил торжественный момент подсчета птицы. Охота была удачной. Птицы действительно могло хватить на ужин всей деревне.

— Вот так молодцы ребята! — кричали восторженно крестьяне. — Таких во всей «уэрте» не сыщешь!

— Птицу-то труднее подстрелить нежели человека! — кто-то с хитрой усмешкой намекнул об убитом доне Мелендеце...

— Ребята добрые. Человека во век не тронут, но в грех лучше не вводить.

Общий смех встретил эти слова.

— Ребята добрые!

— Но в грех лучше не вводить!

Без конца повторяя понравившуюся шутку, крестьяне наполняли кружки молодым, кислым вином.,.

Из трактира Гонзалеса, где еще долго пировали охотники и их поклонники, братья ушли: Мигуэль — в Валенсию, Висенте — домой.

Из города Мигуэль вернулся вечером. Он принес оттуда несколько политических брошюр и два номера «Анторча» («Факел» — еженедельник коммунистической партии Испании).

Братья сели ужинать. Во время еды Мигуэль просмотрел газеты. Его внимание привлекла статья против индивидуальных террористических актов. Он вспомнил о сегодняшних намеках в трактире Гонзалеса, по которым можно было судить, что или Педро, или Диего убили дона Мелендеца. И он невольно сказал:

— Неужели Педро Гарсия застрелил старика?

Висенте вздрогнул.

— Почему это тебе в голову взбрело?

Мигуэль пропустил мимо ушей вопрос брата, продолжая отвечать своим собственным мыслям:

— Педро и Диего — хвастуны, способные только трепать языком. Они никогда не решились бы на такое дело.

— Разве убийство Мелендеца ты считаешь... ты по своим убеждениям... ты бы не решился на него?.. Ты осуждаешь?.. — спросил Висенте и отвел глаза в сторону.

Мигуэль удивленно посмотрел на него.

— О моих убеждениях я с тобой никогда не говорил. Если хочешь знать, каково мое отношение к индивидуальному террору, то... раньше было положительное, теперь совсем другое...

— Теперь... что же теперь? — произнес растерянно Висенте.

Мигуэль взял его за руку.

— Что с тобой, Висенте? Ты сейчас какой-то странный.

Висенте порывисто вырвал руку.

— Я... что я?.. Я ничего... Ты вот о себе расскажи... Тогда... может быть я? — Висенте говорил с трудом, будто что-то стало у него поперек горла. Жилы на его лбу вздулись.

— Хорошо, я расскажу тебе о себе, — сказал Мигуэль задумчиво.

3

Мигуэль начал свой рассказ спокойным голосом, но после первых же фраз увлекся и голос его стал горячим и взволнованным.

Рассказ Мигуэля

— Ты должен помнить, также как и я, те годы, Висенте, когда наша семья задыхалась в тисках нищеты. Впрочем, бедность нашей семьи всегда была притчей в «уэрте». Мне было всего ведь пятнадцать лет, Висенте, когда отец устроил меня на работу в Валенсию на табачную фабрику.

Едва брезжил рассвет, я брал с собой корзинку с едой и уходил на работу. По темной еще дороге длинной вереницей тянулись парни и девушки на прядильные и табачные фабрики.

Целый день мы работали, как волы в запряжке. Мы работали по десять, по двенадцать часов в день. Мы — почти дети, с едва резвившимися мускулами, с неокрепшим еще организмом. Сухая табачная пыль изо дня в день набивалась в наши легкие, и тот из нас, кто проработал на фабрике два-три года, уже надрывался сухим чахоточным кашлем. С каждым днем наш труд становился все более непосильным, а заработка плата ничтожней. Это было перед войной. Весь мир испытывал промышленный кризис. Вспыхивали забастовки. Промышленники объединялись в борьбе против рабочих, — отвечали локаутами на забастовки; организовывали боевые дружины и терроризировали рабочих.

В Испании рабочие до того времени были объединены довольно сносно. «Национальная конфедерация труда» — профсоюзное объединение, руководимое анархо-синдикалистами, насчитывало тогда восемьсот тысяч членов; рядом с ним действовала реформистская «Уния», объединяющая около четырех сот тысяч рабочих. Но ни «Конфедерация», ни «Уния» ничего не значили в Валенсии в бытность Примо-де-Ривера ее наместником. Примо-де-Ривера еще тогда отличался жестоким откровенно-наглым характером.

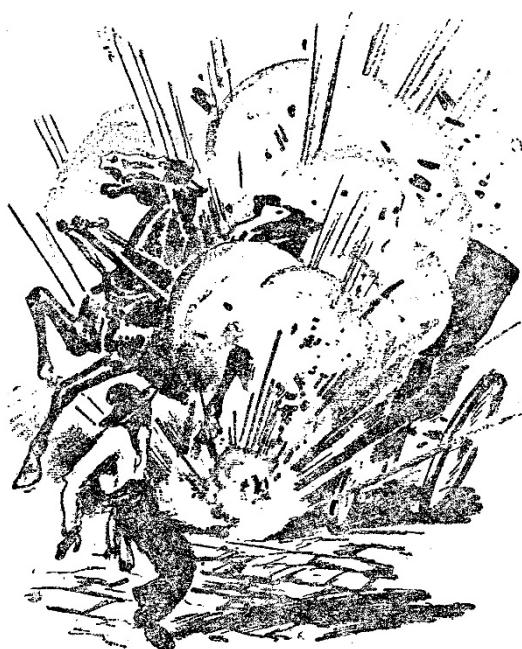
Во время его наместничества в Валенсии промышленники совершенно перестали считаться с рабочими.

Владелец нашей фабрики синьор Андаго ввел такие условия работы, что она стала совсем не под силу. За малейшее выражение недовольства рабочих выбрасывали на улицу. Уволенные рабочие устраивали демонстрации, за что попадали в тюрьму, как бунтовщики. В результате этих условий па фабрике вспыхнула забастовка, подавленная кровавыми репрессиями.

Мне было уже семнадцать лет, когда я вступил в анархическую группу. Наша группа приговорила к смерти Андаго. Приговор было трудно привести в исполнение, потому что Андаго боялся покушений и принимал строжайшие меры предосторожности. Дом его охранялся, как крепость. На улице он появлялся не иначе; как в карете с двумя дюжими слугами. Я и еще один молодой рабочий были назначены исполнителями террористического акта. Мы бросили работу на фабрике и, занявши мелкой уличной торговлей с лотков, учредили слежку за синьором Андаго. Это было нелегким делом, — мы уже была на подозрении у полиции и у дома Андаго не решались появляться. Наконец нам удалось установить, что каждый вечер одной и той же дорогой Андаго ездил за город. Был назначен день покушения.

Привесив под блузой снаряды, мы направились с товарищем к заставе. Он был первым металышником. Я — вторым.

Дробный стук резвых лошадиных копыт отдался в моих ушах, как барабанная дробь. Из-за угла улицы появилась карета синьора Андаго. Мой товарищ бросил бомбу под колеса кареты... Бомба не разорвалась. Дюжий слуга, сидевший рядом с кучером, выстрелом из револьвера уложил моего товарища на месте.



Я бросил бомбу в карету фабриканта...

Карета мчалась прямо на меня и в это мгновение я бросил бомбу. Взрыв оглушил меня, отбросив на несколько шагов в сторону... Собравшись с силами, я поднялся с мостовой и бросился бежать. Мельком взглянув на место взрыва, я увидел обломки кареты и разорванные в клочья трупы лошадей и людей. В ту же ночь товарищи помогли мне скрыться в Барселону...

У меня были явки, которыми меня снабдили товарищи в Валенсии. Благодаря этому я в первый же день приезда в Барселону устроился на безопасной квартире. Мне оказали большое доверие (я заслужил его убийством Андаго) и через несколько дней я уже был включен в группу, подготавливающую покушение на префекта Барселоны Мартинеца Анидо.

Теперь Анидо — министр полиции и генерал. Он настоящий злодей. Даже ты вероятно знаешь это. На его совести сотни

убийств, которые он совершает по указке Примо-де-Ривера при попоши отряда бандитов, находящихся у него на службе.

Тогда в Барселоне Анидо заработал на убийствах больше миллиона пезет. По поручениям промышленников он убирал с пути лидеров рабочего движения. Анархо-синдикалисты давно уже охотились за ним, но Мартинец Анидо был невероятно осторожен. Одна за другой арестовывались террористические группы. Почти все конспиративные квартиры были разгромлены. Так и не удалось нам тогда рассчитаться с Мартинцем Анидо...

Лавина забастовок пронеслась по промышленным районам страны. Это был период девятнадцатого —двадцать первого года. В пламенном кotle закипающих классовых битв со далась коммунистическая партия Испании. Вскоре в нее влились и мы, анархо-синдикалисты.

В сентябре двадцать третьего года Примо-де-Ривера захватил власть, поддерживаемый крупной буржуазией и помещиками. Несмотря на то, что с первых же шагов своего кровавого правления наглый, вечно пьяный генерал отманил конституцию, социал-демократическая партия и реформистские профсоюзы примазались к фашистской диктатуре, получив за поддержку в награду монополию на легальное существование. Коммунистическая партия, объявленная нелегальной, ушла в подполье. Военный террор беспощадно преследовал нас по всей стране. Сотни рабочих во главе с центральным комитетом партии были брошены в тюрьму. Все эти годы я работал по заданиям партии, укрепляя ячейки в промышленных районах.

Несколько раз я сидел в тюрьме. Тюрьма и годы лишений подточили мой организм. Два месяца назад я был заключен в тюрьму уже настолько больной чахоткой, что едва держался на ногах. Мне было предъявлено обвинение, грозившее многими годами заключения. Оно было равноценно смертному приговору, потому что я не выдержал бы и нескольких месяцев тюремного режима. По дороге в суд на тюремную карету, в которой меня

везли, было произведено нападение моими товарищами. Меня отбили. С большим трудом мы выбрались за город. В Барселоне нам отныне не было места. Вся полиция была поставлена на ноги. Нам пришлось продолжать свое путешествие поодиночке, — так было безопаснее. С большими трудностями я добрался сюда, днем прячась, а ночью продолжая путь. Здесь я не сижу без дела. Я связался с товарищами в Валенсии и продолжаю партийную работу. Я организую здесь, в «уэрте», крестьянские советы борьбы.

Я убил синьора Андаго и не жалею об этом. Но теперь я бы этого не сделал, потому что я — коммунист, потому что наша партия борется не с отдельными личностями, а борется с классом. Плохо мое здоровье. Хотел бы я дожить до нашей победы. Я крепко верю, что она наступит, как наступила в России.

4

Мигуэль глядел поверх головы Висенте расширенными, неподвижными зрачками. Несколько минут длилось молчание. Наконец Висенте встал со скамьи. Бледный от волнения, он говорил тихо, не спеша, но с таким напряжением, что казалось не выдержит и закричит воющим голосом:

— Многочего из того, что ты говорил, я не знаю. Но я знаю одно... знаю свою ненависть к помещикам, сосущим из нас кровь по капле. И... и я доказал...

Висенте замолчал. Казалось ему было трудно разомкнуть губы.

Страшным усилием воли он заставил себя договорить.

— Я... убил старика Мелендеца...

ГЛАВА IV

Переплелись пути-дороги

I

Воскресный день выдался солнечным. Сияющий воздух слепил глаза. Приходилось держать глаза прищуренными даже если не поднимать их вверх.

Мигуэль сидел у дома и забавлялся игрою света. Стоило только немного прищурить глаза, и казалось, что воздух разбивается на мельчайшие сверкающие золотые пылинки.

Висенте вышел из дома и сел рядом с Мигуэлем. Хмуро, не глядя в сторону брата, он закурил коротенькую трубку. После того вечера, когда они неожиданно открылись друг другу, братья почти не разговаривали. Они сидели рядом, касаясь друг друга плечами, погруженные каждый в свои мысли. Долгое их молчание было прервано приходом Фернандо Ремолино.

Фернандо Ремолино был батрак, не имеющий ни кола, ни двора. Он работал попеременно у каждого из арендаторов «уэрты», никогда не нанимаясь к крупным землевладельцам.

Фернандо сдружился с Мигуэлем со всей непосредственной страстью, на какую только был способен. Все свое свободное время он проводил в доме Реновалесов или же на прогулках с Мигуэлем, внимательно вслушиваясь в то, что говорил Мигуэль. Мигуэль рассказывал ему о земельном кризисе, вот уже несколько лет ломающем закоренелые традиции в их стране. О трех миллионах батраков, влачащих существование крепостных. О крестьянских батрацких восстаниях, вспыхивающих то в одном, то в другом месте Испании и подавляемых кровавой диктатурой генеральской клики. Говорил о безработице, о рабочем движении, о коммунистической партии. Порою рассказывал Фернандо о батрацкой доле, и Мигуэль с радостным чувством убеждался в

том, какой сокрушающий динамит классовой ярости хранили в себе батраки, эти миллионные резервы революции. Фернандо был одним из активнейших членов батрацкого совета борьбы, организованного Мигуэлем в «уэрте».

Смеясь сообщил Фернандо братьям новость: Альборайская церковь, когда-то самая богатая и посещаемая, не могла этим похвальиться за последние годы. Было это следствием растущего классового сознанья крестьянской молодежи. Не малую роль сыграл в этом и падре Педрегаль.

К падре Педрегалию относились враждебно вся «уэрта». Он беззастенчиво заламывал цены за венчание, похороны и при каждом конфликте крестьян с землевладельцами открыто становился на сторону последних. Помимо всего этого, духовный пастырь страдал большой склонностью к спиртным напиткам и прекрасному полу. Совсем недавно падре привез из Валенсии какую-то девицу и синьора Анжелика, старая экономка падре, ревновала его к ней.

Новость, которую сообщил Фернандо братьям, заключала в себе не мало забавного. Падре Педрегаль, желая вернуть прихожан в Альборакскую церковь, додумался до счастливой идеи. Две недели подготавливая он сюрприз, репетируя с учениками деревенской школы представления живых картин на религиозные темы. Представление должно было состояться после воскресной службы во дворе церкви, на специально сооруженных для этого подмостках. Кроме того, падре Педрегаль, обошел всех крупных землевладельцев «уэрты», у которых собрал целую кучу хлама. Всяческие безделушки, вазочки, статуэтки, немного попорченные и поврежденные, должны были привлечь прихожан на бесплатную лотерею. В заключение всего предполагались танцы под звуки патефона, пожертвованного для этой цели одним из землевладельцев.

Мигуэлю показалась забавной мысль отправиться в церковь и посмотреть на все эти затеи. Братья и Фернандо Ремолино пришли

в Альборайскую церковь, когда служба уже началась. Крестьяне следили за пышным зрелищем католического богослужения с привычной скучой.

Когда кончилась служба, падре Педрегаль взошел на кафедру и начал проповедь, но в эту минуту женский крик, звон разбивающей посуды и стекол донеслись в церковь.

После короткой паузы послышались визгливые женские голоса. В церкви раздались смешки. Шум и крики неслись из дома священника.

Из церкви началось повальное бегство. Собравшись во дворе, прихожане поощряли двух женщин, дерущихся на крыльце дома священника.

Добрый пастырь остался один на кафедре в опустевшей церкви, простирая руки к своей разбежавшейся пастве.

Мигуэль и Висенте, вдоволь посмеявшись, пошли домой.

2

В траве у дороги алеют маки. Розарио Сальвательри, усадив трехлетнего брата, рвет яркие цветы для букета. Цветок за цветком — Розарио удаляется от брата все дальше и дальше. Оставленный без присмотра ребенок, путаясь в высокой траве коротенькими ножками, выползает на дорогу. Усевшись посреди дороги, он играет с пылью, набирая ее в кулачки и тут же развеявая по ветру.

На ребенка мчится автомобиль — великолепный испано-сузиа. Откинувшись на мягкие сиденья подушек, дремлет в автомобиле низкорослый, толстый человек с бритым, одутловатым лицом. Несмотря на жару, человек одет в черный, наглухо застегнутый сюртук.

Ребенок, испуганный автомобильным рожком, встает посреди дороги и, растопырив толстые ручки, испуганно смотрит ка мчащееся чудовище.

Шофер увидел ребенка, когда машина была уже в нескольких шагах от него. Еще секунда и — брат Розарио погиб бы под колесами... У шо夫ера похолодело сердце. Он рванул руль, машина дала резкий поворот, ударила левым передним колесом о придорожный столбик и остановилась, — почти одновременно с ударом шофер дал тормоз.

Сотрясение было так велико, что шофер едва не переломил грудную клетку о рулевое колесо, а толстый человек в черном сюртуке вылетел на пыльную дорогу.

Розарио прибежала на плач испуганного ребенка. Она подняла его, осыпая поцелуями, судорожно прижала к бьющемуся сердцу. Висенте и Мигуэль, издали видевшие катастрофу, подошли к поврежденному автомобилю.

Братья помогли выбраться из машины ошеломленному шоферу. Отдышавшись шофер присел на-корточки и с тревогой стал рассматривать поврежденное колесо. В тревоге за вверенную ему машину он совсем забыл про своего пассажира, который успел встать и теперь дрожащими руками отряхивал пыль с сюртука. Он прислушивался к диагнозу, сообщаемому шофером Висенте и Мигуэлю.

— Запасное колесо у нас есть, но двинуться в путь мы сумеем не раньше чем через два часа, — говорил шофер, закачивая рукава.

— Два часа! — Толстяк оглядел жаркую долину и, достав из кармана большой платок, вытер потное лицо. — Два часа... на пыльной дороге за это время можно задохнуться. Некуда деться от жары. К тому же толстяк торопился. Он ехал с щекотливым поручением в Валенсию. Он был важным лицом, — дворецкий диктатора Примо-де-Ривера — это не шутка.

Теперь толстяку предстояло изжариться живьем на пыльной дороге. Он с проклятием обрушился на Розарио за то, что она оставила без присмотра ребенка и этим вызвала катастрофу. Висенте и Мигуэль обернулись на крики и лицом к лицу столкнулись с толстяком.



— Бальтазар! — вскрикнули братья, подойдя к толстяку...

— Бальтазар! — вскрикнули братья в один голос.

Дворецкий Примо-де-Ривера, толстяк в черном сюртуке, был Бальтазар Реновалес — родной брат Мигуэля и Висенте.

3

Если бы не катастрофа с автомобилем, Бальтазар Реновалес проехал бы мимо родной «уэрты», не тревожимый даже желанием взглянуть на места, где прошло его детство. Вид маленького крестьянского домика, в котором он родился и в котором теперь вероятно в нужде жили его братья, привел его в крайнее раздражение. А тут еще Мигуэль как назло приставал с насмешливыми лирическими воспоминаниями:

— Помнишь, Бальтазар, как ты едва не свалился в колодец, убегая от меня и Висенте с ворованными апельсинами?.. Помнишь, как тебя отхлестал на этой скамье отец за разбитую фигуру мадонны?.. Не мнишь, помнишь?..

Бальтазар хмурился. Прежде чем сесть на скамью, он презрительно осмотрел ее и обмахнул платком. Губы его скривились:

— Скверно вы здесь живете... Не знаю, можно ли это даже назвать жизнью. К чему сдалось вам это никчемное мужицкое хозяйство? Хоть бы сыты были, а то ведь вряд ли. Перебрались бы в город и там нашли бы себе подходящие занятия.

Висенте не садился. Радость встречи с братом была отравлена его пренебрежительным отношением. Голос Висенте стал глухим от злобы:

— Я этой земли не брошу. У меня гордость может быть глупая, да своя. Я никогда не забуду, как пришли выгонять отсюда за неплатеж аренды моего отца. Старик был уже почти совсем слепой. Вы оба плакали, ухватившись за юбку матери. Я не плакал тогда. Я следил за потухшим взглядом отца. Он смотрел в угол за дверью, где висело ружье. Как мне хотелось тогда, чтобы он застрелил людей, пришедших выгонять нас из этого дома, который ты теперь презираешь. Но мой отец смирился и заплакал. Он пошел в город умолять хозяина и выпросил у него отсрочку. Я убежал от стыда в болото и три дня не приходил домой. Я поклялся тогда себе, что никогда чужая цуга не ступит на эту землю, омытую слезами отца. Клятву свою я не нарушу до последнего издохания. До тех пор, пока я буду жив, эта земля будет принадлежать Реновалесам.

Бальтазар, злой и смущенный, вышел на крыльце. Весть об его приезде облетела уже всю деревню. Крестьяне толпились у дома Реновалесов с нескрываемым любопытством деревенских жителей.

Бальтазар был взбешен всем происшедшем до последней степени. Воспоминания детства, вызванные разговором с братьями, сильно укололи его самолюбие. Реновалесы всегда слыли последними бедняками «уэрты» и вот он, вознесенный так высоко над всей этой нищетой, должен спать выносить былые унижения. Он проклинал всю эту несчастную поездку. Он вспомнил, как мальчиком, убежав с балаганом акробатов, мечтал возвратиться в родную «уэрту» богатым и прославленным

человеком, мечтал выстроить здесь красивое поместье. Он смотрел на «уэрту», залитую горячим южным солнцем, на апельсиновые сады, на плодородные поля, на мельницу у реки...

Мельница... Невольно в его памяти всплыла история убийства дона Антонио Мелендеца, мельком слышанная им в Мадриде, Бальтазар ссуджал молодым повесам деньги под большие проценты. Поручик Мелендец неоднократно обращался к нему за ссудой. У Бальтазара и сейчас хранятся долговые обязательства дона Хуана, ставшего теперь наследником мельницы и многих участков земли здесь, в «уэрте»...

Неожиданная мысль мелькнула у него в голове. Он вошел в дом и обратился к Висенте:

— Ты был немного резок, Висенте, но по существу ты прав. Каждый порядочный человек должен заботиться о чести своей семьи. Я принял решение. Я куплю этот участок земли, я куплю еще много участков, я выстрою здесь большой поместьчий дом, и вся «уэрта» узнает тогда, кто такой Бальтазар Реновалес.

Бальтазар разглагольствовал до тех пор, пока темная фигура шофера не выросла на пороге:

— Машина исправлена. Можно ехать, синьор Бальтазар.

ГЛАВА V Цыганский Париж

1

За трехмесячное пребывание в Париже поручик Хуан Мелендец успел уже отвыкнуть от столицы своей родины. Носильщики, разносчики, газетчики, чистильщики сапог, гиды, комиссары, нищие — характерная южная толпа, буквально рвущая на части пассажиров, ошеломила дона Хуана.

— Цыганский Париж, — бормотал презрительно поручик, прокладывая дорогу сквозь атакующую толпу.

— Генералу необходимо почистить сапоги!

— Всего лишь одна секунда, эчеленца!

— Клянусь всеми святыми, маркиз не опаздывает на прием короля! — Трое чистильщиков сапог раздавали чины с такой щедростью, что дон Хуан Мелендец, несмотря на раздражительность, не мог не улыбнуться:

— Вы слабы в математике, гранды. У каждого человека только две ноги а нас трое. По полутора человека на ногу, что ли?

— Всего лишь одна секунда, эчеленца! — С этим ничего нельзя было поделать и через минуту сапоги поручика были начищены до свирепого блеска...

Дома, принимая ванну, поручик вспоминал парижские кутежи и захлебывался от восторга. Правда, эти три месяца жизни в Париже основательно отразились на наследстве, полученном после смерти отца. Но чёрт с ними, с деньгами! Дон Хуан нисколько не жалеет о них. По крайней мере на всю жизнь останутся воспоминания.

После ванны дон Хуан думал было отдохнуть, он чувствовал себя очень утомленным, но не сиделось дома. Переодевшись поручик вышел из дома. «Вечером пойду к Мигуэлито», — думал он, шагая по улицам.

Мадрид — церкви и банки. В церквях — фамильные гробницы — мрамор и золото. В банках золото лишь на бумагах жульнических акций. Колонки, башенки, вышки. Архитектура храма во всем.

На улицах, как всегда, много народа. Как всегда, разговаривают полным голосом, оживленно жестикулируя. Мчатся автомобили. В автомобилях военные в пышных мундирах. Медленно ползут двухколесные повозки с мулами или ослами в запряжке.

Огромный банк Рио де-ла-Плата. Королевский дворец. Военная музыка сопровождает смену караула. Все это выдержано в добрых оперных традициях. Почта, выстроенная в стиле собора

Парижской богоматери. Не хватает только химер. Недаром почту иронически называют «храм пресвятые почты».

Все на своих местах. Все уже давно надоело до чертиков.

2

Дон Хуан Мелендец, доблестный член «хунты», принимал в свое время горячее участие в перевороте. Диктатор благоволил к нему.

Когда поручик пришел к Мигуэлито, очередная попойка была в разгаре. Диктатор Испании генерал Примо-де- Ривера, маркиз д'Эстелла, или попросту Мигуэлито, едва держась на ногах от выпитого вина, принял дона Хуана с восторженным пьяным радушием. Вино быстро делало свое дело чинопочтание было забыто. Генералы в расстегнутых мундирах валялись на диванах рядом с лейтенантами.

Дон Хуан стал рассказывать о Париже с восторгом и упоением, но какой-то генерал перебил его, воскликнув с одушевлением, точно призывая войска на битву:

— Господа! О чем мы думает? Нагрянем сейчас на милое заведение Марке.

— Прекрасно!

— Решено!

— Едем!

3

У дона Хуана дела с наличными деньгами обстояли неважно, и перед тем как отправиться со всей компанией в казино предпримчивого бельгийца, он постучался в комнаты дворецкого диктатора.

Бальтазар Реновалес сидел за большим письменным столом и что-то быстро писал. Он обернулся голову к входившему дону Хуану и, узнав его, встал:

— Дон Мелендец! Какими судьбами?!

— Сегодня из Парижа и, как видите, прямо к вам. Вы позвольте? — поручик достал из портсигара сигарету.

— Сделайте милость, — сказал Бальтазар, подумав: «уж очень он любезен, вероятно пришел за деньгами».

Дон Хуан закурил и, усевшись в кресло, медлил с изложением просьбы. Он уже должен был Реновалесу порядочную сумму и не знал, как приступить к объяснению цели своего прихода. Но Бальтазар хитро пришел ему на помощь:

— Я уже о вас думал, дон Хуан. Ведь вы знаете, что я к вам всегда был расположен... такой прекрасный молодой человек. Блестящая карьера, но... военная служба и заботы... невдомек мне, как вы управляетесь с делами, со всей этой землей, которая принадлежит... которая принадлежала вашему отцу в Валенсии.

Дон Хуан радостно закивал головой:

— Вы верно заметили, синьор Бальтазар. Прямо чёрт его знает, как мне все это надоело! Поместье богатее, апельсиновые сады, много участков в аренде, мне самому за всем этим не



— Для вас готов служить чем угодно!.. — воскликнул Бальтазар...

уследить, а управляющий ворует на чем свет стоит и... Я, знаете ли, к вам... Пустяковая мне сейчас сумма понадобилась...

Бальтазар сложил руки с выражением глубочайшей преданности;

— Помилуйте, дон Мелендец, для вас всегда... для вас готов служить чем угодно, но... к сожалению, с деньгами сейчас очень туго... никак не смогу... Деньги-то у меня есть, но приготовлены для дела... У меня, видите ли, в Валенсии семья. Недавно проезжал... так сказать родные места посетил. Верите ли? Даже умилился, слезы на глазах простирали. Старик-отец и дряхлая мать... — Бальтазар врал с вдохновением, — Я клятву дал. Хочу успокоить родителям старость: земли купить, дом им выстроить, уж очень ветхий у них домишко, почти совсем развалился. Неудобно все-таки, знаете, сыновние чувства. У меня на примете сейчас там есть кое-что. Деньги подготовил, думаю завтра завершить сделку. Поверьте, дон Мелендец, для вас я всегда готов, но сами понимаете...

Дом Хуан даже привскочил от радости. Он уже давно хотел избавиться от земельных участков в Валенсии.

— Прекрасно, синьор Бальтазар! Я уважаю ваши сыновние чувства... но ведь вы можете и мне уснужить и сами не потерять. Я у вас в долг... Если вы мне теперь дадите некоторую сумму, я вам уступлю землю в Валенсии. Мы рассчитаемся, и вы сможете исполнить вашу клятву. Кстати там у меня прекрасная мельница. При ваших коммерческих способностях... Поместье я оставлю себе. Сами понимаете, родовое... честь требует...

Поломавшись еще немного для виду, Бальтазар заключил выгодную сделку: за ничтожную сумму приобрел землю и мельницу, да еще к тому же сделал это, как одолжение молодому повесе, которого уже охватила карточная горячка.

Бальтазар остался наедине со своей рукописью. Холодный, мелочный и себялюбивый, он питал тайную слабость к литературе. Но, увы! После первой же пробы пера (он начал сантиментальный роман о любви) понял, что сочинитель из него не выйдет. Мемуары! Этот род литературы был очень популярен последнее время, и Бальтазар решил попробовать на нем свои силы. Все данные был за успех: Бальтазар Реновалес, дворецкий, доверенное лицо Примо-де-Ривера, мог опубликовать интересные подробности о диктатуре генеральской клики. После мемуаров его наверняка ждали успех и... репрессии. Безмерно желая первого и боясь второго, Бальтазар, однако не мог бороться с искушением и в глубокой тайне писал свои воспоминания. Обладая кое-каким литературным вкусом, он даже и стиль выработал. Писал немного подражая Лесажу, знаменитому его роману «История Жиль-Блазади-Сантиллана». Это было выполнимо тем легче, что жизнь Бальтазара Реновалеса была сходной с жизнью Жиль-Блаза. Бальтазар за долгие годы своей жизни, также как Жиль-Блаз, переменил в качестве лакея не мало господ, а на службе у диктатора оказался едва ли не в интимной близости с двором. Рукопись Бальтазара, рассказывающая о том, как делается политика в Испании, рисующая нравы, характеры и взаимоотношения первых людей страны, заслуживает безусловного интереса. К сожалению, мы не имеем возможности опубликовать ее в целом, дабы не нарушить построение нашей повести (в рукописи сто пятьдесят мелко исписанных страниц), но все же некоторые выдержки из нее мы приведем; некоторые главы: (все главы имеют подзаголовки) придется опустить совсем, удовлетворившись напечатанием только подзаголовков, которые в достаточной мере обнаруживают канву повествования.

История Бальтазара Реновалеса

Глава первая. Детство в «уэрте». Ярмарка в Валенсии.
Бальтазар решил стать акробатом. Бегство из дома.

Глава вторая. По дорогам и весям Испании с балаганом акробатов.

Глава пятая. Бальтазар переходит в служение к королевскому казначею, который вскоре проворовывается и попадает в тюрьму.

Глава шестая. Бальтазар на службе у епископа, который умирает у него на руках от сильного злоупотребления спиртными напитками.

Глава седьмая. Новый хозяин Бальтазара — социал-демократический депутат Диац арестовывается полицией, как председатель некоего мошеннического акционерного общества.

Глава десятая. Капитан Примо-де-Ривера берет к себе на службу Бальтазара.

Мы приводим выдержки из этой главы.

Мигуэлита (Маленький Михаил — так называли и называют Примо-де-Ривера в Испании) родился в Хересе. Он — племянник маршала Примо-де-Ривера, который выдал революционное правительство в 1874 году и восстановил династию Бурбонов. Маршал был бездетен и питал к Мигуэлита большую привязанность.

Дядюшкино влияние и связи сыграли большую роль в карьере Примо-де-Ривера. Дядя по своему опыту знал, что для того, чтобы выдвинуться, нужно бывать всегда на виду, нужно добиться того, чтобы о тебе говорили. Мигуэлита был заурядным офицером, дядя решил сделать его боевым офицером и добивался для него назначения всюду, где в Испании шла война. По просьбе дядюшки старые друзья его, боевые генералы, под начальством которых то там, то здесь служил Мигуэлита, уснащали его послужной список похвальными отзывами. Те обычные проявления храбости,

которые не вменялись в заслугу другим офицерам, раздувались до по пучения награды, когда их совершал Мигуэлито.

Конституционное правительство назначило генерала Примо-де-Ривера наместником Каталонии. Мы переехали в Барселону.

С первых же дней своего наместничества Мигуэлито заслужил любовь промышленников. Если даже порой бывали у предпринимателей пополнования удовлетворить незначительные требования рабочих, генерал противился им.

— Предоставьте все мне, — говорил он. — Настало время, когда эти негодяи буду г иметь дело с человеком, который заставит их замолчать.

С благословения короля подготовлялся военный государственный переворот для уничтожения конституционного строя.

Подробности о предназначении Примо-де-Ривера роли диктатора я узнал из случайно подслушанного разговора.

Мигуэлито не было дома, когда к нему приехали двое приятелей — командующий гарнизоном города Сарагосы генерал Санхурхо и префект Барселоны Мартинец Анидо.

Мигуэлито должен был скоро воз-вкатиться и я предложил гостям его подождать. Они прошли в комнаты и расположились, как у себя дома. Я распорядился, чтобы им подали ликёры, а сам притаился в соседней маленькой комнате, из которой можно было все слышать не будучи замеченным.

— Итак, уже назначен день? — спросил Мартинец Анидо.

— Да, — ответил генерал Санхурхо. — В Барселоне это произойдет значительно раньше, нежели в Мадриде. В Мадриде назначено на тринадцатое сентября (1923 г.) ...

Анидо неопределенно хмыкнул:

— Король остановил свой выбор на Мигуэлито окончательно?

Санхурхо помедлил с ответом. Звякнуло тяжелое горлышко бутылки о тонкую рюмку.

— Сначала думали объявить диктатором Агилера, но...

— Я понимаю, — перебил Анидо, — вспомнили о пощечинах и передумали...

(Анидо говорит о пощечинах, которые получил генерал Агилера, бывший в то время председателем высшего трибунала морских и сухопутных сил, от Санчеца Гуэра, бывшего тогда председателем совета министров. Это произошло в сенате во время ожесточенного спора между военными и штатскими. На высокомерную фразу генерала Агилера: «Честь военного стоит выше чести штатского» — Санчец Гуэра ответил ему двумя пощечинами. Скандал был замят после соответствующих объяснений. Агилера оправдали, но диктатором не провозгласили по той простой причине, что военный, получивший две пощечины от адвоката, не может внушать стражам.)

Генерал Санхурхо откашлялся и продолжал:

— В общем выбор не плох. Мигуэлита любят в казармах. Мигуэлита вечно молод, скandalно молод так, как это нравится в казармах.

Вскоре Анидо ушел и почти сейчас же после его ухода приехал Примо-де-Ривера. Он был пьян. Санхурхо за время ожидания тоже успел нагрузиться. И естественно поэтому, что встреча друзей была теплой. Генералы обнялись.

Санхурхо похлопал по плечу Примо- де-Ривера.

— Ну-с, Мигуэлита, ты, надеюсь, не отказался от мысли восстановить в стране порядок? — спросил Санхурхо.

Мигуэлита шутки ради попытался было вытянуться во фронт, но едва удержался на нетвердых ногах,

— Так точно! — все же отчеканил он по-военному. Язык повиновался ему более нежели взбунтовавшиеся ноги.

— В таком случае рассчитывайте на меня, — кратко, но вразумительно закончил разговор о военном перевороте генерал Санхурхо.

Этим анекдотическим разговором определялось отношение общей массы офицерства к перевороту. В перевороте участвовало только офицерство. Солдат даже не вывели из казарм. Боялись, что они обратят оружие против своих же начальников.

Вопрос о перевороте был уже давно поднят в офицерской среде. Вся сущность его должна была заключаться в том, чтобы отнять власть у штатских и передать ее военным.

Промышленники устроили диктатору торжественный отъезд из Барселоны в Мадрид. Мигуэлита, обладающей многословием южанина, произнес пышную речь на вокзале.



В Мадриде диктатора встретили как спасителя...

В Мадриде диктатора встретили, как спасителя. Тринадцатое сентября прошло в Мадриде на подобие парада. Буржуазная публика стояла шпалерами вдоль тротуаров, встречая диктатора приветственными криками.

В Мадриде отношение офицерства к перевороту было такое же, как и в Барселоне, т. с. сущность его состояла, как я уже

говорил, в том, чтобы отнять власть у штатских и передать ее военным. На этом основании «хунты» и «соматены» — офицерские и фашистские союзы — открыто вооружались за счет военного министерства, смотревшего на это сквозь пальцы. Понятно почему переворот так благополучно удался.

Мигуэлита, получив власть, нисколько не изменился. По-прежнему устраивал пьяные оргии, по-прежнему безрассудно играл в карты.

Глава шестнадцатая. Король и диктатор.

Выдержка из главы.

Альфонс XIII всю свою жизнь вел двойную игру. Во время мировой войны, когда Испания держала нейтралитет, король клялся в дружбе союзническим державам и в то же время помогал немцам. В портах Средиземного моря немецкие подводные лодки безнаказанно топили коммерческие суда. Альфонсу XIII это было известно, но он, негодяя вслух, втайне отдавал распоряжения об укрывательстве немецких подводных лодок.

В личной жизни король — ничтожный человек, мнящий о себе бог знает что, занимающийся спортом и постоянными переодеваниями. Если король является к утреннему завтраку в костюме гвардейского капитана, то к обеду вы его уже увидите в костюме артиллерийского полковника, а к ужину наряженным в костюм, сшитый по его собственной фантазии. Воистину — шут патроне, как отзывается о нем Примо-де Ривера.

Диктатор всячески третирует короля, едва ли не держит его под замком. Альфонс XIII, помогавший военному перевороту для того, чтобы стать абсолютным монархом, в результате оказался под сапогом безмозглого генерала.

Король не прочь устроить еще один заговор и посадить на место Примо-де- Ривера какого-нибудь другого генерала, менее беззастенчивого и деспотического характера, чем Примо-де- Ривера. Диктатор это чувствует и очень боится подвоха со стороны короля...

В сущности это не власть. Забраться высоко и бояться упасть неизмеримо низко?! Я мечтаю совсем о другом. Я прошел сквозь миллионы унижений и теперь наконец смогу ни перед кем не гнуть спину. Поместье в Валенсии, беззаботное существование богатого человека, выгодные акции и плодородная земля — вот предел моих желаний...

Бальтазар Реновалес отложил в сторону ручку и аккуратно сложил исписанные листы. На этом месте пока заканчивалась его рукопись. Рядом на столе лежали обязательства дона Хуана Мелендеца.

Заперев рукопись и обязательства в несгораемый шкаф, дворецкий диктатора с приятным сознанием плодотворно проведенного дня отправился спать.

ГЛАВА VI Будь проклята бедность!

1

Ранним утром к Висенте явился нотариус в сопровождении клерка, несущего большой черный портфель.

В торжественной тишине солнного деревенского дня нотариус вручил Висенте доверенность на его имя, подписанную Бальтазаром. Доверенность предоставляла в распоряжение Висенте несколько больших участков земли, мельницу, принадлежавшую раньше дону Мелендецу, и солидную сумму денег в банке. Помимо доверенности, нотариус передал Висенте письмо Бальтазара, в котором тот просил начать постройку большого дома. В этом же письме Бальтазар выражал свои желания о распланировке земли: часть под посадку плодовых деревьев, часть под посев хлеба, часть оставить арендаторам.

Через несколько месяцев на том месте, где стоял ветхий домишко Реновалесов, вырос просторный помещичий дом. Уже заканчивали окраску фасада и вставляли стекла в рамы. Сарай был загроможден ящиками, — мебель, присланная Бальтазаром из Мадрида.

Планировка земли производилась так, как этого хотел Бальтазар: близ дома посадили плодовые деревья, большую часть земли отделили под посев хлеба (несколько десятков батраков едва управлялись на ней), остальную часть земли оставили прежним арендаторам. Во всем остальном Висенте распоряжался согласно своим желаниям. Его опьянила власть над большими угодьями земли, — земля принадлежала теперь Реновалесам (сбылись его мечты) и никто отныне не мог отнять у них право на нее.

Но кровью и плотью, всем своим прошлым Висенте был связан с крестьянством, с бедняками-соседями. Выкованное годами классовое сознание не могло измениться от одного росчерка пера на купчей крепости, сделавшей бедняка Висенте помещиком. Зависимость, в которой очутились перед ним теперь его односельчане, нисколько не изменила его характера. Он относился к ним так же, как относился к ним, когда был бедняком. Он платил батракам больше во много раз, нежели другие землевладельцы, работая рядом с ними. Он предоставлял всякие льготы арендаторам, бесконечно отсрочивал им платежи. На мельнице плату за помол Висенте сделал такой низкой, какой она не была спокон века. И все же, несмотря на это, он не мог не чувствовать отчужденности, которую стали питать к нему крестьяне. Особенно дал ему ее почувствовать Мигуэль, переселившийся к Педро Гарсиа, который отбросил под его влиянием хулиганские замашки и стал одним из активнейших

членов крестьянского совета борьбы. Через несколько дней после утверждения Висенте во владении землей Мигуэль вернулся из Валенсии мрачный, как туча.

— Ты знаешь на какие деньги ты собираешься создать рай, в котором овцы будут мирно пастись рядом с волками? — спросил он, хмуро глядя в глаза брата.

Висенте молчал. Накануне в долгих спорах он изложил Мигуэлю свои взгляды на дальнейшую жизнь. Это была путаная теория христианского социализма, пытающаяся примирить богачей с бедняками.

Мигуэль продолжал, все более разгораясь гневом. На бледных щеках его вспыхнул яркий чахоточный румянец.

— Ты собираешься создать рай на деньги, выжатые из народа. На деньги лакея, отшившегося на хлебах этого мерзавца Примо-де-Ривера?! Я сегодня узнал в Валенсии, что Бальтазар служит у него дворецким. Знаешь ты, что собираешься заняться позорным примиренчеством, которое в результате вызовет провокацию. Да, провокацию, потому что Бальтазар не согласится на твоё ведение дел и заведет такой крутой режим, что... без восстания не обойдешься. Впрочем, это даже к лучшему! Но твоя роль мне непонятна. Поступай, как знаешь, а меня уволь, моей ноги здесь больше не будет...

Через несколько дней после ухода Мигуэля приехал Бальтазар, и Висенте вспомнил слова брата.

Внешним видом своего поместья Бальтазар остался доволен. Потирая руки, гордый новым для него положением землевладельца, он осматривал сад, посевы, службы, дом, сделал несколько мелких замечаний о перестановке мебели и уселся закусить после дороги.

Бальтазар приехал не случайно, бросив выгодную службу у диктатора. Он уехал из Мадрида, когда уже начались волнения в среде студенчества, когда заколебалась почва под ногами Примо-де-Ривера и двуличный король прочил на его место нового

диктатора, не зная кого выбрать — Санчеца Гуэра, Мартинеца Анидо, или генерала Веренгера. Примо-де-Ривера, думая укрепить свое положение, обратился к офицерству с запросом о доверии. Бальтазар, не дождавшись ответа офицерства (ответ оказался отрицательным), понял, что песенка его господина спета. Крысы бегут с тонущего корабля. Бальтазар был первой бежавшей крысой...

За завтраком Бальтазар расспрашивал брата о подробностях ведения им хозяйства, и морщины на его лбу сдвигались все больше и больше.

На другой же день после приезда Бальтазар проверил слова Висенте на деле и пришел в страшную ярость. Он ругал Висенте за бесхозяйственность, за нелепое мягкосердечие, за попустительство батракам и арендаторам.

— Ты что здесь вздумал богадельню устроить?! — кричал он, багровея от ярости, брызжа слюной и наступая ка Висенте жирным, колышущимся животом.

После этого разговора Висенте заперся у себя в комнате, почти совершенно не выходя из нее. Сомнения терзали его. Он оказался между двумя лагерями...

Бальтазар взял ведение хозяйства в свои руки и сразу перегнул палку. Батраки отказывались от работы, осыпая его проклятиями. Они разносили о нем такую молву, что из «уэрты» никто не хотел наниматься к нему, и Бальтазару пришлось брать на работу «чуросов». («Чурос» — паршивая овца, так называют в Валенсии покорных бедняков. Гонимые голодом, спускаются они на работу с пограничных гор, отделяющих провинцию Валенсии от Арагона.)

Разделавшись с батраками, Бальтазар принялся за арендаторов.

Висенте постарел и осунулся. На похудевшем лице его сухим огнем горели ввалившиеся глаза.

ГЛАВА VII Между двух огней

1

Два человека в черном, со свертками бумаг подмышками постучались в дверь дома Сальвательери. Розарио отперла им и отшатнулась, увидев этих зловещих господ, предвестников несчастья.

Пристава явились описывать имущество и выселять за долги семью Сальвательери. Дог Сальвательери убитому старику Меленденцу возрос на ростовщических процентах, как на дрожжах, до чудовищной цифры в несколько тысяч риалов. Теперь вместе с землей долг перешел к Бальтазару.

Сальвательери мрачно сидел за столом и, сжав голову руками, следил за тем, как пристава производили опись имущества. Жена его держала на руках младшего сына, а двое детей постарше ухватились за ее юбки. Розарио стояла у двери.

Перебрав в сундуке ворох платья, один из приставов в раздумье остановился над пустой колыбелью. Это была изящная детская кроватка красного дерева, купленная на рынке в Валенсии в лучшие дни семьи. В этой колыбели еще спала Розарио — первый ребенок Сальвательери.

Увидев пристава над кроваткой, старай отвернулся, чтобы скрыть слезы, навернувшиеся на глаза.

Розарио не вынесла этой сцены. Сорвав со стены ружье, она взвела оба курка.

Пристава вздрогнули, услышав сухой звук взводимых курков. Увидев ружье в руках побледневшей от ярости девушки, пристав, высокий мужчина с багровым апоплексическим лицом, грозно прикрикнул на нее:

— Ну, девка, не балуй!
Худо будет!

Розарио не изменила позы. Пристав пошел на нее с поднятыми кулаками. Кровавая пелена застилала глаза Розарио. С глухим криком спустила она сразу два курка. Пристав свалился, как оглушенный бык, — оба заряда угодили ему в грудь.

Другой пристав оттолкнул Розарио и, выскочив из дома, побежал по деревне с дикими воплями, точно за ним гналась свора собак.

У дома Сальвательери собралась толпа.

Крестьяне входили в дом, мрачно поглядывая на убитого пристава, сочувственно на семью Сальвательери. Розарио была любимицей «уэрты», и грозившее ей суровое наказание волновало крестьян.

Несколько парней вынесли тело убитого пристава и, положив его под навес сарая, накрыли рогожей. Соседки вымыли пол и привели в порядок разбросанные вещи. Кто-то взял из рук Розарио ружье и усадил девушку на скамью. За все время не было произнесено ни слова. Наконец Педро Гарсия не выдержал напора волновавших его мыслей и сказал то, что было на душе у всех крестьян:

— Не отдадим Розарио! Силой отобьем! Не отдадим!

Крестьяне заговорили и сквозь разнобой голосов чувствовалась непреклонная решимость привести в исполнение сказанное Педро.

Неожиданно все замолкли.

В дверях стоял Мигуэль Реновалес. Изможденное лицо его блестело от пота. Он только-что приехал из Валенсии на повозке



Педро. Привлеченный к дому Сальвательери собравшейся толпой, он успел уже узнать о случившемся.

В напряженной тишине прозвучало слово, пламенным призывом отдавшееся в сердцах. Слово, которое звучало всюду, где объединяются ка борьбу с угнетателями:

— Товарищи! — Дрожь восторга, восторга борьбы пронизала все тело Мигуэля, он почувствовал прилив пламенной силы агитатора. — Товарищи! Сейчас в Валенсии я узнал о том, что вся страна встает на борьбу с диктатурой генеральской сволочи. В Барселоне идут баррикадные бои. Рабочие с оружием в руках защищают раздавленную свободу. В Мадриде полиция и войска стреляют в народ. Товарищи! Настала минута и вам подняться на борьбу за освобождение земли, на борьбу против помещиков, сосущих из вас кровь, превращающих ваших сыновей и дочерей в убийц. Товарищи! Вы не хотите отдать во власть жестокого суда господ эту девушку, поднявшую оружие на людей, выгоняющих ее отца из дома, который он выстроил своими руками. Последуйте ее примеру, товарищи! Все, в ком есть мужество и ненависть к угнетателям, к оружию! Я пришел к вам из города, который сделал меня рабочим. Город взял у меня силы, здоровье, город дал мне силы для борьбы, сделал меня коммунистом. Я принес в родную деревню новую правду о жизни. Я — крестьянин по рождению, также, как и вы, и я призываю вас к борьбе за свободную землю, над которой мы все будем равными хозяевами. Товарищи! Семь лет наша страна была отдана во власть Примо-де-Ривера. Во власть безмозглого генерала, на которого случайно пал выбор короля. Сейчас Примо-де-Ривера не у власти. На его место король назначил генерала Беренгера. Не все ли это равно?! Что от этого изменится? Я призываю вас к борьбе за власть рабочих и крестьян. К оружию, товарищи!

Громыхающая лавина крестьянских голосов подхватила призыв Мигуэля:

— К оружию!!!

Бальтазар сидел за обедом, когда пристав вбежал в дом, наполнив его неистовыми криками. Он был мокрый от пота и задыхался от быстрого бега. Бальтазар с трудом добился от него отчета о произошедшем.

— В деревне восстание! Они сожгут ваш дом! Спасите меня, умоляю вас! Не выдавайте меня им! — вопил он и крупные слезы текли по его мясистым щекам.

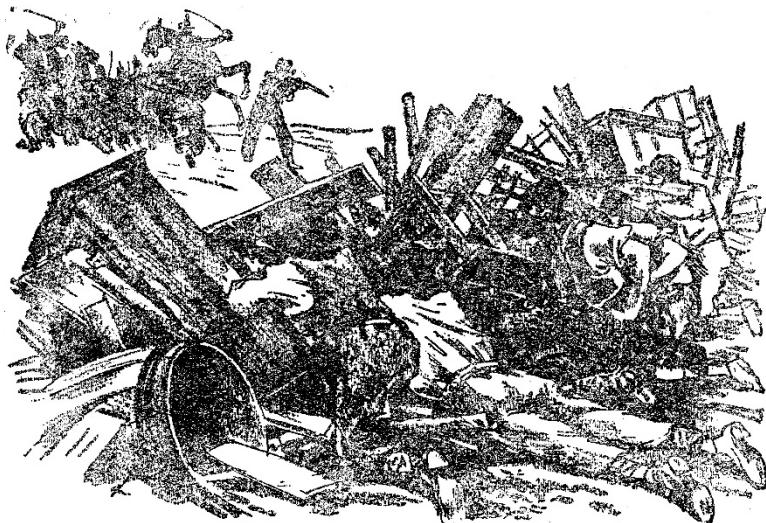
Бальтазар был решителен и быстр в своих поступках. Не прошло и десяти минут, как он послал своего доверенного слугу Хозе, взятого им из Мадрида, к губернатору Валенсии которого он знал, встречая его у Примо-де-Ривера.

Хозе, бойкий парень, мчался в Валенсию с запиской, в которой сообщалось об убийстве пристава, о восстании (Бальтазар видел из окна всполошившуюся, вооружающуюся деревню) и с убедительной просьбой прислать на помощь полицию, войска...

Жандармский офицер отделился от своего отряда и, пришпорив лошадь, въехал на холм. С холма была видна дорога и деревня, как на ладони. Дорога была преграждена баррикадой из крестьянских повозок. Офицер закурил папиросу и, вернувшись к отряду, отдал команду спешиться и отдохнуть перед атакой...

Через пять минут отряд мчался в-карьер на баррикаду.

С баррикады грянул первый залп. Жители «уэрты» были меткими стрелками, — по дороге мчались лошади без всадников.



С баррикады грянул первый залп по жандармам...

Раненые животные жалобным пронзительным ржанием оглашали «уэрту». Жандармы отступили, спешаись и, прячась за кочки, за бугорки, открыли беспорядочную стрельбу по баррикаде.

Огонь с баррикады прекратился. Крик победы донесся до жандармов, и как бы в утверждение этой победы над баррикадой взвилось красное полотнище, вздетое на кол.

Глаза офицера налились кровью.

— По коням! К дому Реновалеса! Вперед!

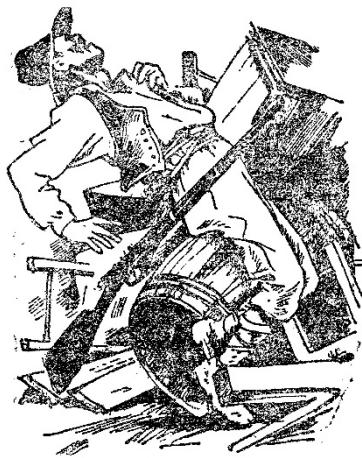
Дом Реновалесов был превращен в осажденную крепость. Жандармы стреляли из окон и Бальтазар с ужасом наблюдал за разрушениями, которые наносили пули стенам. Крестьяне плотным кольцом окружали дом.

Висенте забился в угол в сенях и сквозь маленько оконечко входной двери смотрел на приближающуюся толпу. Кровь гудела у него в ушах. Вот впереди его брат Мигуэль. Вот Фернандо Ремолино, Педро Гарсия и Диего Матиас, активные члены крестьянского совета борьбы, организованного Мигуэлем. Вот стариk Сальвательри и... в этой толпе, среди которой друзья его детства... Висенте на секунду зажмурил глаза... открыл... нет, это не обман зрения, там, в этих рядах, где смерть каждую секунду вырывает жертву за жертвой, мелькает яркое платье Розарио...

Как это случилось? Почему он не с теми, с кем связан плотью и кровью? Он, который убил Мелендеца, столкнувшись с ним лицом к лицу, когда возвращался с охоты. Он застрелил ростовщика, движимый ненавистью всей «уэрты», а теперь он малодушно бездействует, не может решить, к какому лагерю он принадлежит. И все это из-за земли. Но ведь Мигуэль любит землю не меньше чем он. Почему же Мигуэль не принял подачки от брата, который был лакеем тирана. Нет, Висенте негодяй. Он продал свою совесть ради земли, добытой на деньги, выжатые из народа.

Висенте вскрикнул. Этот крик повторила вся толпа крестьян, наступающая на дом. Мигуэль Реновалес, сраженный пулей жандарма, выронил ружье и упал навзничь.

Висенте разорвал ворот рубахи. Он задыхался. Будь проклята эта земля! Ему не нужно земли, омытой кровью брата, кровью

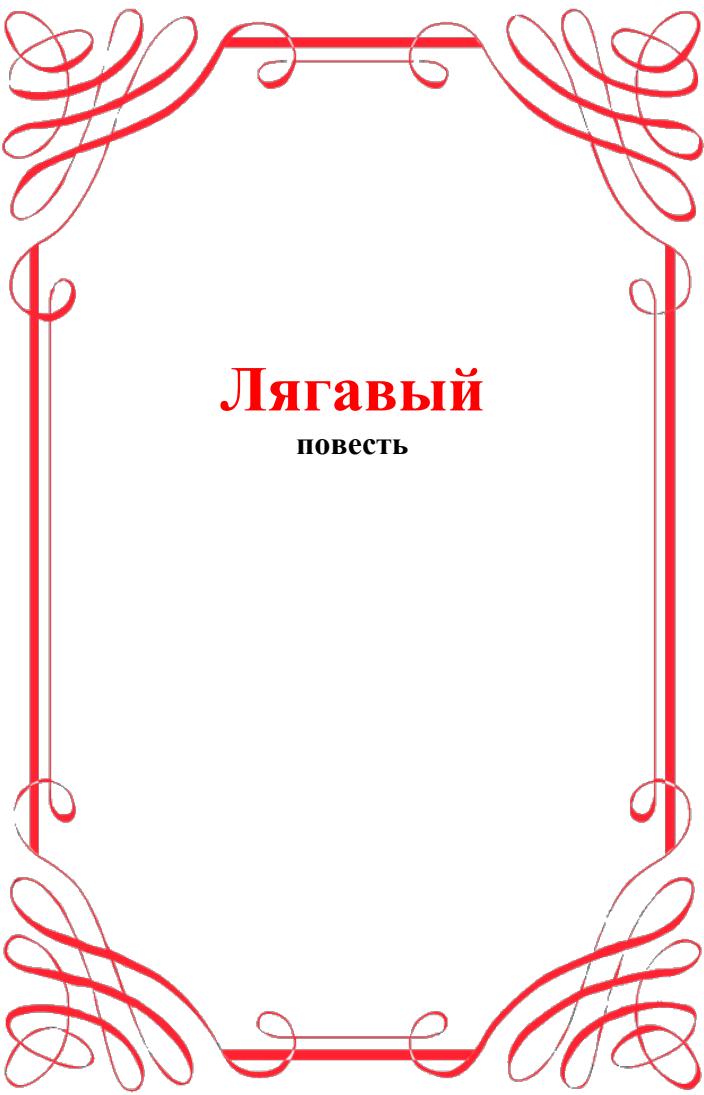


Мигуэль выронил из рук ружье.

товарищей и может быть кровью любимой девушки. Мысль эта была невыносимой. Висенте поднял щеколду и выбежал из дома.

На крыльце он на секунду остановился, полкой грудью вобрал воздух и ровной походкой двинулся вперед.

Он шел туда, где было его настоящее место, туда, где умирали и сражались его товарищи.



Лягавый
повесть



I.

Он запечатлен на этих фотографических карточках во всех возрастах. Именно запечатлен, — лучшего определения подобрать невозможно. Даже вот на этой карточке голый пухлый карапуз уже предназначен для пантеона истории. За этой маленькой иконой следует изображение будущего вождя в роли вундеркинда: он играет на скрипке, он — за мольбертом, за лепкой. И наконец поэма усов. Усы — биография! Вот карточка, где он еще юноша с едва пробивающимися усиками. На этой усы уже подросли, как крылья у бабочки, они схвачены в одну тысячную секунды в момент полета ораторского красноречия. Вот другая карточка, здесь он в арестантском халате, плечи его сгибаются под тяжестью тюремного режима, усы стали длинными, опущены книзу. И сразу резкий переход — он в офицерской форме, усы, самоуверенно поднятые кверху, как два остро отточенные штыка.

Карточки расклейены на широких листах толстого альбома на вычурном письменном столе. И вот...



... Премьер-министр
перелистывал утренние
газеты.

работник, он несомненно должен был выдвинуться в первые ряды деятелей социал-демократии. Но грянула мировая война, и, отбросив трусливые миролюбивые лозунги, он добровольно вступил в ряды действующей армии».

Министр дополняет газетные строки воспоминаниями...

...Социал-демократ стал офицером. Социал-демократ в офицерском мундире был карьеристом. Карьерист знал, что мировая война — арена, на которой выдвигаются быстро и выгодно. И конечно не на фронте. Фронт — для серой скотины, для пушечного мяса. Для карьеристов — тыл.

...Социал-демократ в офицерском мундире, получив назначение в особый отдел штаба по борьбе со шпионажем и дезертирством, не колебался. Это было началом его полицейской

...День его начинается. Он в шелковой пижаме за письменным столом, в глубоком кожаном кресле, перелистывает сегодняшние газеты.

В газетах его портреты под крупными заголовками:

НОВЫЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР,
БЫВШИЙ ПОЛИЦЕЙ-
ПРЕЗИДЕНТ.

В кабинете трое: он, тишина и тщеславие.

Синим карандашом в газетах отмечены строки:

«Пятнадцать лет назад нынешний премьер-министр примыкал к социал-демократической партии. Молодой адвокат, прекрасный оратор, пламенный

карьеры. Он быстро двигался по службе и по окончании войны, при новом социал-демократическом правительстве, вспомнив революционные грешки молодости, принял пост полицей-президента.

...Июльское восстание венских рабочих... Восстание произошло неожиданно. Оправдание судом фашистов — убийц рабочих в Шаттендорфе — было динамитной шашкой. По фабрикам был дан пароль получасовой стачки-протеста на утро 15 июля 1927 г.

...Утром на демонстрацию напала с саблями наголо конная полиция. Тогда рабочие подожгли здание суда, в котором спасались полицейские, стрелявшие в рабочих. Правительство потеряло голову. Но полицей-президент направил против повстанцев усиленные наряды полиции. Полицейские стреляли разрывными пулями. Сто пятьдесят рабочих было убито, свыше тысячи ранено. Восстание было подавлено. Тогда в благодарных правительственные кругах он получил кличку «незаменимый». Улицы Вены давно уже не помнили такого побоища. Теперь он— премьер-министр, и фашистская газета пишет о нем:

«Новый премьер-министр — человек, наделенный огромным государственным умом. Он всегда ставил выше всего благородство своей родины. В молодости он сменил социал-демократическую болтовню на мундир офицера действующей армии. Он давно сумел помянуть нелепость социалистических лозунгов, ведущих страну к гибели. Понял всю опасность нерешительности и соглашательства. Мы с уверенностью можем сказать, что теперь симпатии и убеждения премьера всецело на стороне национальной партии. Только политика твердой руки может возродить нашу страну. Мы это видим на примере Италии, и это произойдет с нашей страной, если наш премьер пойдет по стопам Муссолини».

Стоять рядом с Муссолини — это очень лестно. Но премьер хмурит брови. Политический горизонт не очень ясен.

Министр вспоминает о рабочих демонстрациях и сжимает кулаки. Полицейские не могут разогнать пятидесятитысячную толпу демонстрантов. Все это дело рук компартии. Компартия!..

Министр принимает непроницаемый вид.

На пороге стоит секретарь с почтительным докладом: — вызванный господином министром господин полицей-президент прибыл и ждет приема.

Их двое теперь в кабинете — новый премьер-министр и новый полицей-президент.

— Руководя полицией, вы являетесь моим преемником, — говорит министр и думает: «И метиши на мое теперешнее место».

— Я не забываю об этом ни на секунду и стараюсь усвоить методы, которые вы применяли, будучи на моем месте, — со скромностью примерного ученика отчеканивает полицей-президент и мысленно добавляет: «А в особенности я перенял от тебя, хитрая лиса, один хороший метод: пугать ministra и держать его в своих руках».

— Вы приняли меры против демонстраций? — спрашивает министр строгим голосом.

Полицей-президент конфиденциально откашливается.

— Возможные меры принятые, господин министр, но вы, кажется, упоминали о каком-то проекте?..

Министр многозначительно шевелит бровями.

— Необходимо выработать закон, карающий за демонстративные манифестации и стачки. Пока же необходимо раскинуть широкую сеть сыскного наблюдения...

Полицей-президент прячет хитрые глазки под лиловыми веками.

— Да, да, я уже об этом думал. Меня беспокоит анархическая молодежь.

Министр бледнеет, он боится говорить: дрожащий голос выдает волнение, вызванное этими словами. Он кивает головой, — аудиенция окончена, — и тяжело опускается в кресло. Бледность преображает его, — теперь он старик с морщинистыми веками и отвислой челюстью.

«Клюнуло», — думает полицей-президент и, низко поклонившись, выходит из кабинета.

II.

Хромой мальчик стоял на перекрестке двух улиц. Глаза у мальчика были печальны. Вытянув цыплячью шейку, он смотрел на музыкантов, возглавляющих шествие. Пятьсот комсомольцев после районного собрания устроили шествие. На знамени — белые нашивки-буквы:

«ПРИВЕТ IX СЪЕЗДУ АВСТРИЙСКОГО КОМСОМОЛА».

Хромой мальчик стоял на перекрестке двух улиц. Глаза у него были печальны. Ганс Вебер смотрел на мальчика с мучительной жалостью. Ганс вспоминал себя в его возрасте на костылях, с едва оправившейся после перелома кости ногой. Разве не такими же жалобными глазами провожал он тогда чеканный шаг марширующих ног?

Особенно сияет солнце, когда торжествует медь оркестра. Уже несколько кварталов Ганс Вебер шел тротуарами за комсомольцами. Потом зашагал по мостовой сбоку колонны, и наконец невольно вошел в ряды.

Вот уже миновали рабочие кварталы, вышли на Рингштрассе, ко вдруг, как по команде, стали. Впереди — затор. Вебер чувствует на себе пристальный взгляд. Комсомолец, раньше шагавший

рядом с ним, теперь с любопытством (Веберу кажется, что подозрительно) рассматривает его. Веберу не по себе. Неловко, пятышься, он спотыкается о тротуар.

На тротуаре — рослые юноши со сдвинутыми на затылок студенческими фуражками. Они исподлобья смотрят на комсомольцев. У них серебряные значки хеймвера¹.

Один из студентов насмешливо кричит Веберу.

— Закрой рот, ворону проглотишь!..

...Бывает так, что в одно мгновение вновь переживаешь всю свою жизнь...

...Гансу пять лет. Отец Ганса, токарь по металлу, умер от чахотки. Он лежит в большом сосновом некрашеном гробу под желтым колеблющемся пламенем свечей. Мать плачет. Ганс не знает, почему. Ганс впервые видит смерть и то, что делают с человеком после смерти. Может быть так иногда бывает: человека кладут в ящик, зажигают свечи и плачут.

Вероятно, скоро его отец встанет и опять все будет по-прежнему,

...Когда гроб с телом отца опустили в могилу и стали засыпать землей, Ганса охватил ужас. Стерлась грань возраста, и ребенок переживал, как взрослый. Из-под земли возврата не было, и это было страшно.

...Солнечные зайчики играют на алюминиевой посуде. Мать Ганса стоит у жарко натопленной плиты. Она служит у генерала. У него большая семья, генерал скончался, он всячески урезывает расходы, но мания разорения преследует его ежечасно. Генерал приходит на кухню и вступает с матерью Ганса в перебранку как торговка на базаре.

1. Хеймвер — отряды австрийских фашистов.

...Иногда в садике, примыкающем к дому генерала, Ганс встречает по праздничным дням двух генеральских сынов. Жестокие и драчливые мальчуганы учатся в военной школе. Приходя по праздникам домой, они переворачивают все вверх дном, и их выпроваживают в сад. Генеральские сынки играют с Гансом в «индейцев». Они — доблестные охотники, вооруженные двуствольными карабинами. Ганс — жалкий, невежественный дикарь. После недолгой беготни они ловят Ганса, привязывают его к дереву — «столбу пыток», стреляют в него из духовых ружей, заставляют кричать: «Да здравствуют бледнолицые!» и бросают в него мячиком.

...Смерти матери Ганс не видел. Он был отдан в учение в слесарную мастерскую и остался в Вене, когда мать переехала с семьей генерала в Будапешт. Тринадцати лет от роду Ганс остался круглым сиротой. Был третий год мировой войны, русские отступали, но радости от победы не было. Новый страшный враг — голод вел наступление на Австрию. Ганс жил при мастерской в маленьком чуланчике, и самым цепным имуществом его была толстая пачка революционных брошюр, доставшихся ему в наследство после смерти отца.

...21 октября 1916 года лидер левой группы социал-демократической партии Фридрих Адлер выстрелом из револьвера убил сосредоточившего в своих руках всю власть премьер-министра Австрии Штюрака. Двенадцатый параграф австрийской конституции давал премьер-министру право издавать в административном порядке обязательные постановления, не спрашивая на это согласия парламента. На основе этого параграфа Штюрак сначала мировой войны правил страной без участия парламента и установил жесткий режим угнетения рабочего класса. Выстрел Адлера был боевым призывом, обращенным к озлобленным рабочим. Ганс, с головой ушедший в

революционные брошюры, с интересом прислушивался к разговорам своих старших товарищей.

...Вскоре после убийства Штюрака в Австрии было получено известие о революции в России.

...12 ноября 1918 года в Австрии была провозглашена республика. Фридрих Адлер, которому суд заменил смертную казнь восемнадцатью годами тюрьмы, был освобожден революцией. Но напрасны были ожидания рабочих, еще находящихся под обаянием его поступка. Фридрих Адлер, как и остальные лидеры социал-демократической партии, оказался приспешником буржуазии...

...Ганс рос. В Австрии разгоралась политическая борьба. Была создана ком-монистическая партия, но, как это ни странно, Ганс Вебер, ставший взрослым, не вступил ни в одну из революционных партий. Работая на одном из больших сталелитейных заводов Вены, он прослыл угрюмым одиночкой, по-прежнему читал революционные брошюры, предпочитая анархические всем остальным.

Студент угрожающе придинулся к Веберу и заорал над самым его ухом: «Слышишь ты, пролетарий, кричи: «Да здравствует хеймвер!».

Только теперь Ганс совсем оторвался от своих мыслей о прошлом. Переход к действительности был мгновенен. Страшный удар обрушившийся на подбородок студента, был лишь незначительной отплатой за жестокие издевательства, которые перетерпел Ганс в детстве от барчуков.

Студент упал навзничь, из рассеченной губы его потекла кровь. Это послужило сигналом к общей свалке. Студенты бросились на комсомольцев, но получили такую трепку, что вряд

ли унесли бы ноги, если бы к месту драки не подоспела конная полиция.

Комсомольцы хватали поднимающихся па дыбы лошадей за уздцы, пытались стащить полицейских с седел. Жандармы били комсомольцев шашками плашмя.

Ганс дрался рядом с комсомольцем, чей подозрительный, как ему казалось, взгляд заставил его раньше выйти из рядов. Но в то время, как комсомолец получил жестокиеувечья, синяя блузка на нем была изодрана в клочья, лицо в кровоподтеках, глубокий резанный шрам на голове, — на Гансе не оказалось ни одной царапины.

Полицейские, не ожидавшие сопротивления, пришли в ярость. Возобновив конную атаку, рассеяли комсомольцев.

Площадь была усеяна шапками и телами раненых. Комсомолец, дравшийся рядом с Вебером, выхватил револьвер, навел на мчавшегося жандарма, но поскользнулся и упал. Вслед за ним свалился Ганс, сшибленный вспененной поиской грудью. Больно ударившись головой о мостовую, Ганс потерял сознание...

Ганс пришел в себя в полицейском автомобиле. Рядом с ним сидел комсомолец, напротив — два полицейских.

Ганс посмотрел на комсомольца и улыбнулся широкой, радостной улыбкой. Он получил боевое крещение, — он арестован.

— Меня зовут Шольц, — сказал комсомолец, недоуменно глядя на улыбающегося Ганса.

— А меня Вебер, — сказал Ганс, улыбнувшись еще шире, еще радостнее, и протянул комсомольцу руку.

Автомобиль остановился у полицейского управления.

III.

Соломенный тюфяк, на котором лежал Ганс, буквально кишел клопами. Грязные стены камеры шевелились, усеянные красными точками. Хоть снимай башмак и дави сотнями, но... рука Ганса останавливается. Он читает объявление, на котором четко написано:

«АРЕСТАНТАМ В ПОРЯДКЕ ДИСЦИПЛИНЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДАВИТЬ НА СТЕНЕ КЛОПОВ».

Государственная мудрость все предусматривает. Тюрьма — не больница. Содержать ее в чистоте дорого, да и не желательно. Объявление, запрещающее давить клопов, уподобляет их крокодилам, которых запрещено убивать в священных водах Ганга. Не давить — значит отдаться живым на съедение. Со стены стряхнуть на пол, — прячутся в многочисленных щелях прогнивших досок. Спичек при себе держать нельзя, но даже если я есть спички, попробуй опалить стенку, — подвергнешься наказанию.

Два часа ворочался Ганс на койке.

Неожиданно плюгавый человечек с кривыми ножками и острым лициком, влетел в камеру от надзирательского подзатыльника. Вслед за человечком в камеру полетел грязный тюфяк.

Потерев шею, человечек разложил матрац в углу, сел на него по-турецки, поджав под себя ноги, и погрозил кулачком тяжелой двери.

— Мерзавцы, тираны! Погодите, придет наше время, вы задрожите при виде нашего черного знамени... Взлетят ваши тюрьмы от наших бомб...—Он говорил быстро, пришептывая, как статист, боящийся забыть не твердо выученную роль. — Придет

наше время, мы понесем, как святыню, наше черное знамя... Как учили нас наши учителя Бакунин и Кропоткин... Мы...

Человечек запнулся, — статист забыл нетвердо выученную роль, но не смутился, видимо привык уже к выступлениям. Вскочив на ноги, он ударил себя кулаком в грудь и закончил несвязную речь неожиданным заявлением, стараясь как можно больше вложить в свои слова эффектности и убедительности.

— Я анархист, товарищ, а ты?

Если бы у Ганса был тюремный опыт, он бы сразу сообразил, что плюгавый человечек — «лягавый», подосланный для того, чтобы вызвать у него то, что скрываешь от полицейских, но что можно доверить своему партийному товарищу. Но этого опыта у Ганса не было. И хотя «лягавый» был не из матерых, говорил бестолково, путаясь, Ганс все же попался на удочку.

— К партии не примыкаю, но по убеждениям анархист, — сказал Ганс и покал потную, холодную ладонь человечка.

Ранге вытащил из кармана пиджака целую кипу анархических брошюр.

— Меня еще не обыскивали. Спрячь.

Ганс с любопытством пересмотрел брошюры. Многие из них уже прочитаны им раньше.

— Зачем их прятать? Что в них нелегального? У любого букиниста среди бела дня сколько хочешь таких купить можно, — сказал Ганс, улыбаясь, и бросил брошюры на койку.

Ранге просиял.

— Ты прав, товарищ! Нам незачем скрываться. Анархист должен везде смело и открыто заявлять о своих убеждениях.

— По какому, делу сидишь? — спросил Ранге, стараясь придать своему лицу озабоченное выражение, хотя знал уже от фон Кленера все подробности ареста Вебера.



... Если спросят ты кто такой? отвечай «анархист».

«анархист». Хуже для них нет... Вот завтра на допросе... Ты с меня пример бери, учись. Следователь предъявит протокол обвинения и скажет этак вежливо и ехидно: «Прочтите». А я презрительно: «Плевать мне на ваши протоколы» ... и подписываюсь «анархист Ранге» и точка. Понял?

— Ну, понял, — сказал Вебер и широко улыбнулся.

Ранге подпрыгнул. Обнял Вебера, закружил по камере.

Ганс простодушно рассказал человечку свои приключения. Ранге ободрительно хмыкнул.

— Так их, живоглотов, так... Допрашивали уже?

— При обыске спрашивали к какой партии принадлежу?

— Ну и ты, конечно...

— Сказал, что ни к какой.

Ранге забегал по камере, путаясь кривыми ножками.

— Как же так? Как же так? Это недостойно анархиста. Ты меня прости, брат, но я, как старший товарищ, обязан тебе объяснить...

Полицейских надо терроризировать.

Спросят: «ты кто такой», вали отвечай:

— Спасибо, товарищ Вебер! Обрадовал меня, старика!
Ганс нахмурился.

— А ты откуда мою фамилию знаешь? Ведь я тебе не говорил.

Человечек на минуту опешил. Промелькнула трусливая мысль: «Сейчас бить будет, пропало все». Но как актер по инерции, пока подскажет суплер, несколько раз повторяет первое подвернувшееся слово, испуганно бормотал:

— Ты что же... ты что же... ты-что же... меня за хироманта считаешь? Я слышал, как дежурный надзиратель про меня говорил: «этого, говорит, в камеру Вебера». Однако, пора спать.

Ранге улегся на тюфяке, и сейчас же его начали кусать клопы. С пола дуло.

Ганс глядел на дрожащего Ранге со своей койки, и жалость щемила его.

— Ложись со мной товарищ, на полу замерзнешь.

...Утром их повели на допрос. Полицейский поручик фон-Кленер, долговязый дурак с прыщавым лицом, ждал их, приготовив на столе два протокола. Первый протокол с обрывками каких-то фраз предназначался для Ранге: неважно было, чем его заполнить. Второй протокол содержал «признание» Вебера в принадлежности к анархической группе, подготовляющей покушение на премьер-министра, с перечислением «улик, установленных при обыске»: «бомба, револьвер», и т. д. чего, конечно, в действительности не было.

Прочтите предъявленное вам обвинение, сказал поручик и протянул Ранге «протокол».

— Читать и отвечать отказываюсь, — сказал Ранге дрогнувшим голосом, — но подписать могу: «Наплевать мне на ваши обвинения. Анархист Ранге».

Фон-Кленер молча протянул протокол Веберу. Не читая, Ганс подписал свою фамилию.

Дело было сделано. Фон-Кленеру обеспечена карьера, Ранге — обильная выпивка в «Полной чаше», Гансу Веберу — тюрьма.

IV.

...Осенний ураган промчался над городом. Проливной дождь сменился мелким дождем. Промозглый мрак даже собак загнал в конуры.

Три часа заключенные подпиливали решетку. Тот, кого называли Чёртом, широкоплечий сорокапятилетний большевик, человек, наделенный гигантской силой, бывший матрос, исколесивший море, до крови натерев пальцы напильником, шёпотом разговаривал с Шольцем.

Шольц, задержанный с оружием в руках два дня назад, был перевезен из полицейского управления в тюрьму. Он рассказывал о демонстрации пятисот комсомольцев, завершившейся дракой с хеймверовцами. Невольно ему вспомнился Ганс Вебер, радостно улыбавшийся в полицейском автомобиле.

— Странный парень этот Вебер, — сказал Шольц, недоуменно поводя бровями. — Когда он очнулся, то будто обрадовался, что арестован. Как он втесался в наши ряды, не понимаю. Из-за него драка и началась.

Чёрт сквозь стиснутые челюсти пробурчал с непоколебимой, яростной убеждённостью:

— Провокатор, должно быть. Теперь их на службе у полиции много. Да и в наше время этого добра было хоть отбавляй. Только мы их душили, как щенят.

— Чёрт, иди сюда, —тихо позвал балагур и весельчак Ганек, — нам нужна твоя сила, решетка уже подпилена,

Чёрт подошел к окну, ухватился двумя руками за решетку и вырвал ее, вжав голову в плечи.

Лучшей ночи для побега избрать было нельзя: тьма — хоть ножом режь, так ощущалась ее плотность.

От окна камеры до вымощенного плитами двора было пять метров. Заключенные спустились по веревке во двор.

Такая же веревка была припасена для тюремной стены. Шольц взобрался по плечам заключенных на стену, уселся верхом на гребне и стал укреплять веревку. Стена имела шесть метров высоты.

Острая как блеск стали, молния расколола небо на две половины. Несколько мгновений было светло, как днем. Часовой увидел человека на стене.

Небо сомкнулось. Темнота скрыла человека. Часовой вскинул винтовку к плечу.

Сверкнула молния. Опять стало светло на несколько мгновений. Часовой выстрелил. Шольц свалился с простреленной грудью на руки заключенных.

Часовой наугад, в темень, расстрелял всю обойму.

В тюрьме поднялась суматоха. Замелькали огни надзирательских фонарей. Каравальная команда, выбежала из своего помещения во двор.

Заключенных штыками загнали в камеру.

Начальник тюрьмы, толстый, свирепый чех, ругаясь на чем свет стоит, ворвался в камеру, сопровождаемый сворой надзирателей.

В эту ночь надзиратели пропустили несколько обходов. Теперь надо было проявить служебное рвение, и разъяренные надзиратели били заключенных ногами, будто перед ними были не люди, а футбольные мячи.

Начальник тюрьмы распорядился надеть на заключенных кандалы.

В коридоре загремели шаги. Дверь камеры распахнулась.

Вороная круглыми черносливинами глаз, надзиратель Шурубе водворил Ганса Вебера в камеру подзатыльником.

Заняв свое место на нарах, Ганс Вебер с любопытством стал с оглядывать своих новых товарищей. Утомленные волнениями минувшей ночи, заключенные спали. Их не разбудил даже зверский окрик Шурубе. Только Ганек и Чёрт молча смотрели на Ганса.

Гансу невмоготу стали их пристальные взгляды. Не зная, как прервать тягостное молчание, он неловко поклонился и, приветливо улыбнувшись, сказал:

— Меня зовут Вебер, Ганс Вебер...

Чёрт вспомнил рассказ Шольца, и тяжелая складка раздумья избороздила его лоб. «Лягавый», — подумал он и решил проверить.

— Ты кто же сам будешь?

Ганс решил не ударить лицом в грязь. Помня советы Ранге, твердо отчеканил:

— Анархист.

— Анархист? — спросил Чёрт и криво усмехнулся.

Вряд ли кто-нибудь мог бы лучше Черта написать историю революционного движения Австрии. Многолетние скитания по тюрьмам дали ему огромнейший опыт и знакомства. Он знал лично виднейших лидеров различных партий. С его губ так и срывались имена, о которых Ганс и понятия не имел. Через несколько минут Чёрт был окончательно убежден в том, что Ганс

проводокатор, «лягавый», подосланный к ним в камеру, чтобы раскрыть организаторов вчерашнего побега.

Ганс почуял в допросе Чёрта неладное и хотел уже подробно рассказать о себе, но в это время распахнулась дверь камеры, и старший надзиратель заорал хриплым голосом:

— Встать.

Старший надзиратель был предвестником большого событий.

В тюрьму пожаловал премьер-министр в сопровождении по лицей-президента. Ему было доложено об аресте анархиста Вебера, сознавшегося в том, что он примыкает к группе, подготовляющей покушение на премьера. Вместе с этой радостной и страшной вестью (страшной, ибо, по словам лицей-президента, Вебер не выдал еще сообщников) министр узнал о событиях прошлой ночи в тюрьме.

Войдя в камеру, министр был бледен, но твердым голосом, по-военному приветствовал арестантов:

— Здорово, ребята!

Будто сговорившись, заключенные грянули насмешливым хором:

— Здравия желаем, господин диктатор!

Ганек не удержался и добавил с ехидной улыбкой:

— Может быть социал-демократический министр отдаст распоряжение снять с нас кандалы?

— Молчать! — заревел начальник тюрьмы, и бычья шея его стала багровой. Казалось, вот-вот он лопнет.

Министр еще больше побледнел и, наклонившись к уху начальника тюрьмы, что-то шепнул ему. Начальник тюрьмы откозырял и крикнул:

— Вебер, выходи!

Ганс ступил два шага вперед.

Министр грозно оглядел его.

— Сообщников назвать отказываешься?

— У меня никаких сообщников нет.

Ганс удивленно вскинул на министра глазами:

— Слушай ты, головорез, —министр говорил глухо, —если убежит кто-нибудь из них, — министр кивнул в сторону десяти заключенных, — ты отвечаешь, ручаешься тебе в этом своей головой. Если убежишь ты, я рассчитаюсь со всеми десятью... Понял?

Круто повернувшись, министр вышел из камеры.

Заключенные устроили ему вслед кошачий концерт.

Вебер стоял посреди камеры неподвижный, осталбеневший. Заключенные, не придав серьезного значения тому, что сказал министр, тормошили Ганса, но он стоял, как бык, оглушенный ударом молота, широко расставив ноги, наклонив голову.

Решив, что новичок отойдет скорее без их участия, а в будущем привыкнет и не будет путаться пустых угроз, заключенные разошлись по местам.

Чёрт мерил крупными шагами камеру, кружил вокруг Вебера. Громкий вздох вырвался из стесненной груди Вебера. Не глядя ни на кого, он побрел к своему месту на нарах.

Чёрт шагал из угла в угол.

Всю ночь не находили покоя старый, испытанный большевик, отправленный подозрением, и юноша, рвущийся в революцию, но не знающий верной дороги к борьбе.

V.

За несколько месяцев совместного тюремного заключения десять человек узнали политическую физиономию друг друга. Мир за стенами тюрьмы на время от них отошел. Они жили

мелочами повседневного быта своей камеры. Жили тесной семьей, сплоченные единой волей в борьбе с тюремной администрацией.

Вожаком камеры, человеком, к каждому слову которого прислушивались с особым уважением, был Чёрт. Любимцем, весельчаком и балагуром, знающим тысячи историй, — коммунист Ганек.

Два друга, два яростных спорщика, молодые рабочие, коммунисты Гиблер и Ольтруб с утра до ночи наполняли камеру непрестанным говором.

Пять ротфронтовцев Мерк, Заге, Фюрт, Фихман и Земмель были арестованы за оказание сопротивления при расформировании союза. В тюрьме под влиянием Чёрта и Ганенка они совершили недалекий путь от союза Ротфронт к коммунистической партии.

Был в камере патриарх — стариk рабочий Карл Зольде. Многолетним сереньким пребыванием в рядах социал-демократической партии Зольде заслужил кличку «кобылки». Жгучий огонь критики никогда не вспыхивал в упрямой голове Зольде. Зольде был «кобылкой», — аккуратно платил членские взносы, аккуратно являлся на все партийные собрания. Но во время июльского восстания Зольде видел, как социал-демократическое правительство расстреливало рабочих на улицах Вены. Стариk «свихнулся». Несколько месяцев не посещал партийных собраний, ходил мрачный, угрюмый, таил в себе безвыходную внутреннюю борьбу противоречий. И вдруг молчаливость Зольде бурно, неудержимо прорвалась. Он стал ораторствовать ка заводе, в партийном клубе, на улицах.

Однажды, остановившись с распростертыми руками перед проходящей военной частью, Зольде закричал:

— Солдаты, опомнитесь! Кровь ваших братьев-рабочих требует отмщения! В ваших руках винтовки, за чем же дело стало?

Направьте их в виновные груди! Долой правительство, расстреливающее рабочих! Не слушайте офицеров, они на службе у буржуазии. Смерть социал-демократам, изменникам революции!

Разнесем в щепы их подлый парламент! За мной!

Зольде арестовали.

В тюрьме его ярость разгорелась еще ярче. Чёрт терпеливо занялся стариком. Долгими политическими беседами он прояснил разум старика. Все политические понятия, смешавшиеся в голове старика в одну общую кучу, Чёрт кропотливо распределил по «полочкам», и старик стал понимать многое, что ему было неведомо раньше. Он успокоился и крепко поверил в то, что единственным руководителем рабочего класса может быть только коммунистическая партия.

С Гансом Вебером в камере не общались, его старались не замечать. Заключенные решили предать Вебера травле. Они вели по-прежнему беседы на различные политические темы, но ни слова не упоминали о неудавшемся побеге. Вебер заметил явно отчуждение от него заключенных и объяснил это тем, что они боятся, как бы от трусости, испугавшись угрозы премьер-министра, не выдал их при новой попытке к побегу. Он решил показать камере при первом же удобней случае свое пренебрежение к угрозам премьера.

Покамест, вооружившись терпением, он замкнулся в себе.

Мерк, вечно голодный Мерк, с тоской в голове рассказывал о своей работе на венских бойнях.

— К концу дня, — говорил Мерк, — бывало, ходишь по колено в крови. И каких только вкусных блюд ни приготовляют потом из этих гор мяса. Здесь в тюрьме из грязной бурды, нагло

называемой супом, разве только выловишь кусочек воловьей жилы.

— Представить тебя на бойнях трудно, — отозвался с нар Ганек. — Но вот вообразите себе, товарищи, почтенных буржуа в котелках в роли мясников. В 1918 году я прибыл в Вену. На площади перед вокзалом, окруженнная конными милиционерами, бушевала толпа. Впечатление — будто дерутся врукопашную. Но не слышно ни единого крика. Меня это дело заинтересовало. Подхожу ближе. Вижу — у многих господ в котелках окровавленные руки. «Вот так драка, — решил я, — до крови дело дошло», но, приглядевшись, я понял в чем дело. Голодные венцы дрались из-за поросенка. Куски окровавленного мяса переходили из рук в руки.

Разговоры о крови приводили в бешенство старика Зольде. Они напоминали ему об июльском расстреле.

— Беззащитную скотину, небось, режете на бойнях, — пробурчал старик, — а на министров рука у вас не поднимается? Сукин сын, Юлиус Дейтч, называет революцию бескровной. Забывает о расстрелах на улицах Вены и Граца.

— Не нарадуюсь я на тебя за последние дни, дедушка, — сказал смеясь Ганек, — вы только подумайте, ребята, ведь Дейтч — виднейший лидер социал-демократии, а старик до того уже дошел, что сукиным сыном его обозвал. Вспоминается мне тут один случай: было это 12 ноября 1918 года, при провозглашении в Австрии так называемой «республики». Парламент атаковали демобилизованные солдаты и рабочие. Когда взвился над парламентом трехцветный республиканский флаг, два храбреца взобрались на мачту и оборвали две полосы, оставив только красную. Одну минуту развевался над венским парламентом красный флаг. Шкуру бы дал содрать с себя живьем еще бы только раз в жизни такое дело увидеть... Вот тогда этот самый Дейтч

удержал толпу от взятия парламента, а то бы не миновать того, чтобы флаг этот остался на веки вечные. Тех двух рабочих, что эту штуку проделали, застрелили офицеры. Были они, по признанию Дейтча, единственными жертвами бескровной австрийской революции. Попался бы этот Дейтч тогда Чёрту в руки, не завидовал бы я его судьбе.

Заключенные приветствовали шутку Ганека громким смехом. Даже всегда мрачный Чёрт улыбнулся.

На несколько минут в камере наступила тишина. Но вот зажужжали Гиблер и Ольтруб. Они по обыкновению спорили. Жужжание перешло в крик:

— Наши демонстрации нельзя сравнивать с демонстрациями социал-демократов, — кричал высоким фальцетом Диблер, — демонстрации социал-демократов все равно, что прогулка ручных зверей в зоологическом саду. А стоит нам, коммунистам, выйти на улицу, — полиция тут, как тут...

— Совершенно правильно, паренек, — подхватил Ганек, — вспоминается мне одна история — репетиция фашистского марша на Вену. На 7 октября 1928 года был назначен смотр хеймверу в Винер-Нойштадте. Город большой, промышленный, твердыня социал-демократии, как же им смолчать? Вот они и назначили на то же число в том же Винер-Нойштадте свою демонстрацию. Фашисты заказали двенадцать поездов для переброски своих сил в Винер-Нойштадт, социал-демократы — семнадцать. Кроме того, демонстранты должны были прибывать на грузовиках, автомобилях, велосипедах и пешком. Фашистов ожидалось восемнадцать тысяч, социал-демократов — восемьдесят тысяч, вместе с местными рабочими число их дошло бы до полутораста тысяч. Предполагалась драка. Власти предложили устроить между обеими демонстрациями обусловленную границу, изолировать, отмежевать хеймверовцев от социал-демократов, и в этом смысле

договаривались заранее с обеими партиями. Социал-демократы требовали себе почти весь город. Фашисты, конечно, не соглашались. Краевое правительство запретило демонстрацию социал-демократам. Они обратились к союзному правительству. Правительство перепугалось, забило отбой. Бургомистр Вены, господин Зейц, выступил в Граце с заявлением, что «необходимо найти компромисс, который дал бы возможность сожительствовать с буржуазными партиями, раз приходится сожительствовать». Буржуазная пресса советовала социал-демократам, «не следовать коммунистическим подстрекательствам». Это подействовало. Обе демонстрации состоялись, но вместо драки получился фарс. Социал-демократы спрятались от фашистов за проволочные заграждения. Гиблер прав: лет через пять социал-демократов если и можно будет видеть, то только как ручных зверей в зоологическом саду.

Лежа с закрытыми глазами, Ганс жадно слушал. Сколькими вопросами он засыпал бы этих, так хорошо разбирающихся в политических вопросах ребят. Но приходилось скрепя сердце молчать и ждать того момента, когда он сумеет им всем доказать, что он — настоящий революционер, заслуживающий их доверия и дружбы. Этот момент наступит, и он тогда докажет... докажет...

VI.

В просторной спальне хранили добродетельные супруги, — герр Отто и фрау Алиса.

Фрау Алиса была хорошей хозяйкой. Ей снились рождественский гусь с яблоками и поросенок с кашей.

Герр Отто был лидером социал-демократической партии. Ему снились овации многотысячных толп рабочих, внявших его учению.

Толстый коротенький человечек сидел за письменным столом. Толстенький человечек боролся с ночью и пером. Ночь туманила сознание, перо рвало бумагу, оставляя следы причудливых клякс. Человека звали Юлиус. Он был социал-демократом, лидером, «историком». Он писал историю революционного движения Австрии.

Писать, умалчивая о предательстве, о расстрелях рабочих демонстраций,искажая факты, — трудно.

Но... Бернард Шоу помог ему афоризмом.

Юлиус вычитал его в пьесе «Шоколадный солдатик».: «Что скажет история? История, как всегда, солжет» ...

И Юлиус в своей «истории» лгал напропалую.

Этой же ночью премьер-министра потревожил телефонным звонком полицей-президент. Разговор их был краткий, но содержательный.

Полицей-президент сообщил министру:

— В Винер-Нейштадте отряды хеймвера приведены в боевую готовность. Заказаны поезда на Вену. Положение угрожающее. Вы меня простите, но... нянчясь с социал-демократами, оттягивая утверждение реформы конституции, мы дождались марша на Вену.

Министр ответил:

— Распорядитесь занять вокзалы, телеграф и почту усиленными отрядами полиции. Окружите ЦК компартии, произведите обыск в редакции «Роте фане».

На огромном металлургическом заводе Вархаловского растущая с каждым днем ячейка компартии вела ожесточенную борьбу с социал-демократами.

В эту ночь в старо литейном цеху, в багровом отсвете мартенов, коммунисты организовали митинг. Ганзен, один из редакторов «Роте фане», сообщал рабочим о готовящемся хаймвером марше на Вену.

— Товарищи, создавайте рабочие дружины, вооружайте их по мере сил и возможностей. Разоружайте фашистов, организуйте демонстрации протesta против реформы конституции. Долой социал-предателей! Да здравствует пролетарская революция в Австрии!

Шунер, наиболее действенный из всех лидеров социал-демократической партии, был срочно вызван на завод. Шунер приехал к концу речи Ганзена. Шунер взял слово:

— Товарищи, среди нас большинство испытанных членов социал-демократической партии. Вы прекрасно отдаете себе отчет в том, что произойдет в нашей стране, если вы последуете подстрекательствам коммунистов. Гражданская война, анархия, голод, большевистское чека! Товарищи, перед лицом истории я жду вашего дисциплинированного отпора большевикам, врагам порядка. Я вижу среди вас старого члена нашей партии, товарища Шольца. Пусть он выступит перед вами, и вы увидите, что мнение рабочего сходно с мнением ваших лидеров.

Старик Шольц, рабочий-калильщик, медленно взобрался на возвышение и стал рядом с Шунером. Он смотрел поверх толпы куда-то, в одному ему видную даль. С каждым словом голос его делался крепче, как остывающая сталь:

— Товарищи, вы знали моего сына, вы знали разногласия мои с ним. Мой сын был арестован и избит полицией во время демонстрации комсомольцев. Мой сын, комсомолец Шольц, был

убит при попытке побега из тюрьмы. Товарищи, много дней мое личное горе было моим личным горем, но я боюсь, как бы мое горе не стало вашим горем, я боюсь, что каждый из вас вскоре будет оплакивать своих сыновей, расстреливаемых социал-демократическим правительством. Шунер назвал меня старым социал-демократом, Шунер просит у меня ответа, поддержки... Вот мой ответ!

Рабочие опешили. Ответ всегда спокойного Шольца был неожидан и поэтому так крепко убедителен.

Ответ был в сжатом кулаке старика-калильщика. От этого ответа распух нос Шунера, от этого ответа Шунер полетел на земляной пол сталелитейки.

Сталелитейка бурлила...

Ганзен пожал руку Шольцу.

— Товарищи, это уже ответ не социал-демократа, это ответ большевика. Наш ответ хеймверу и социал-демократам — рабочие дружины.

Бросив последний внимательный взгляд на сервированный к завтраку стол, фрау Алиса вошла в спальню, неслышно ступая ногами, обутыми в мягкие комнатные туфли.

Муж еще спал. Он лежал на спине, разметав пухлые коротенькие ручки. Судя по ровному дыханию, сон его был безмятежен и сладок, как у младенца. Да и сам он, несмотря на седые волнистые кудри, нежным румянцем, играющим на полных щеках, гладкой белой шеей, выступающей из отложного воротника ночной рубашки, был похож на младенца.

Фрау Алиса подняла штору. Солнечный свет брызнул в комнату золотыми колосьями лучей.

— Пора вставать, Отто, — сказала она ласково и села в изголовье постели.

Младенец с седыми кудрями глубоко вздохнул и проснулся. Сладко потянувшись, он сел на постели и положил пухлую ладонь на руку своей жены.

— Доброе утро, Алиса. Какой чудесный день! Я очень доволен квартирой, она вся на солнечной стороне.

Напевая песенку о «зеленой елочке», он облачился в мягкий халат с кистями, и, нашупав ногами отороченные мехом туфли, последовал в ванную.

Завтрак его, легкий и питательный, был образцовым с точки зрения медицинской диеты. Он ел молча, не спеша, исполненный важности серьезного дела.

После завтрака, у себя в кабинете, под ласковым взглядом елейного Каутского, заключенного в строгую раму, он занялся утренней почтой.

Он не успел еще просмотреть всех писем с приглашениями разных обществ, где он состоял почетным членом, когда в кабинет осторожно, стараясь не шуметь, вплыла фрау Алиса.

— Отто, к тебе пришли Шунер и Юлиус. Они очень взволнованы... может быть... тебе вредно волноваться, Отто...

— Впусти их, Алиса, и распорядись, чтобы подали нам чай.

Он благолепен! Он идет навстречу своим друзьям-соратникам, знаменитым лидерам социал-демократической партии.

— Отто, мне звонили из министерства. От нас ждут ответа, — говорит взволнованный Шунер еще с порога, и распухший нос его жалобно сникает над разбитой губой.

Младенец пожимает им руки. Голос у него тихий, бархатный, подкупдающий.

— Спокойствие, друзья. Прежде всего спокойствие и время. Мы не можем сразу дать ответ, мы должны обдумать.

Шунер подпрыгивает в кресле:

— Ото, сейчас нельзя медлить ни минуты. Ты, вероятно, ни черта не знаешь, забившись здесь среди своих книг. Вена провела вчера тревожную ночь. Полиция была приведена в боевую готовность, заняла вокзал, почту, телеграф.

Юлиус входит в дуэт визгливым голосом:

— Хеймвер подготовлял ночью путч, чтобы сорвать наше соглашение с правительством!

Шунер вторит:

— Меня срочно вызвали ночью на завод Вархоловского. Коммунисты устроили митинг и призывали рабочих к восстанию. Я обратился за поддержкой к члену нашей партии, рабочему Шольцу, и вот тебе результат: мерзавец ударил меня кулаком в лицо.

Седой младенец развел пухлыми ручками.

— Но... но, друзья, есть же предел нашей готовности к компромиссам... Соглашаться под явным давлением хеймвера?..

Юлиус забегал по кабинету мелкими шажками.

— Дело ясно... Хеймвер хочет нас спровоцировать, чтобы совершить переворот. Но мы... мы не сделаем этого одолжения хеймверу. Поменьше слов, друзья, побольше дела. Нас ждет министр. Отто, одевайся и едем

Премьер, опустив военного министра, беседовал с доктором Миллером, виднейшим лидером хеймвера.

Крупный промышленник, доктор Миллер сидел, развались в кресле, и поверх тройного подбородка смотрел на ministra маленькими свиными глазками.

Министр говорил спокойно и уверенно:

— Соглашение с социал-демократами будет достигнуто сегодня же мирным путем. Вы можете распустить отряды в Винер-Нейштадте. Завтра законопроект будет обсуждаться в парламенте, и реформа конституции будет проведена. Диктаторские полномочия президенту, право распуска парламента и смещение правительства, право военных властей применять вооруженную силу для восстановления порядка, расширение полномочий полиции, отмена права убежища политэмигрантов, ограничение автономии Вены в области налогового обложения...

На пороге вырос почтительный секретарь:

— Господин Шунер...

— Простите, — сказал министр и встал.

Предводительствуемые седым младенцем, в кабинет вошли Шунер и Юлиус.

— А вот и наши бунтари, — голос министра был добродушным и дружеским.

Миллер ласкою захрюкал.

— Что же вы это, господа социалисты, капризничаете, — сказал Миллер, отышавшись, — в такое тревожное время? А коммунисты... Коммунисты ведь не дремлют. Не лучше ли нам соединиться против нашего врага?

Шунер кивнул головой.

— Вы правы. Коммунисты разжигают гражданскую войну. Мы согласны на реформу конституции при условии строжайших репрессий против коммунистов.

Сделка была заключена.

Легкий морозец подернул инем город. Когда седой младенец вошел к себе в квартиру, щеки его горели, будто он их себе нащипал. Из кухни приятно пахло запахом жаркого. В гостиной

фрау Алиса вязала теплые носки. Толстый кот мирно дремал у нее на коленях.

В кабинете за письменным столом, под благостным светом зеленого абажура, над книгой Каутского, как над евангелием, «торговец рецептами свободы, равенства и братства» окончательно успокоился.

«Все, что угодно, только не гражданская война».

Все что угодно, только бы квартира на солнечной стороне, только бы диетически стол...

VII.

Раз в месяц заключенным разрешаются свидания.

Свидания происходят в приемной, разделенной на две половины густой решеткой.

Взяв свою карточку в конторе, заключённые рвутся в приемную. Сейчас они увидят близких людей с воли. За густой решеткой не видно лиц. В приемной разговаривают двадцать человек. Говорят спеша, волнуясь. Почти ничего не слышно. Говорят не то, о чем хотят сказать.

Ганек тяжело дышит, налегая всем телом на решетку. За решеткой — жена. Он старается коснуться ее руки.

— Ты опять томишь себя шитьем, — тихо шепчет Ганек.

— Руки прочь! — кричит надзиратель.

Марку не терпится узнать, что из съестного принес ему отец.

К Чёрту пришел старый товарищ по партии. Чёрт скалит зубы, крепко впившись могучими руками в решетку. Товарищ кричит ему:

— Социал-демократы согласились на фашистскую реформу по всем пунктам конституции. «Роте Фане» конфисковывалась шестнадцать раз. Пять ее редакторов арестованы.

— О политике говорить запрещено! — рычит надзиратель.

Заключенные волнуются, мысли разбегаются. Нужно было сказать много важного, необходимого, все, что томило их месяц.

— Свиданье кончено! В камеру!

Ганс хмуро лежал на нарах в пустой камере. Впервые он так резко, так мучительно почувствовал свое одиночество. Его некому навещать. Горячий комок подкатился к горлу. Ганс стиснул зубы.

Топота ногами, тяжело дыша от злости, заключенные ввалились в камеру.

Ганек бросил злой взгляд на Вебера. У него першило в горле, товарищи едва не плачут, а этот шпик лежит, как ни в чем не бывало. К нему-то уж, наверное, никто не придет. Дело ясно.

— Ты, Заге, того... Собак не обижай. Собаки — животные порядочные. Я их сызмальства уважаю, — Ганек скосил на Вебера яростный зрачок. — Собаки моя слабость, все, кроме породы лягавых, — лягавых не терплю. Уж одно то, что особая порода шпиков называется «лягавыми» ... До чего я человек мирный, а грех был, скрывать нечт. Перед тем, как сюда отправили, продержали меня неделю в полицейском управлении. Вваливается во мне в первую ночь человек, кубарем от надзирательского подзатыльника летит. Фамилия этот человека Рант...

Вебер вздрогнул. Галек продолжал.

— Он, видите ли, человечек этот плюгавый, «коммунист», за революцию готов пострадать. Врет всякую чепуху, сразу видать, что «лягавый». От нет предательством так за версту и несет. Я его прижал к стенке... сознался, стервец: «Хлеб, — говорит, — кушать надо и против начальства не пойдешь. Только, — говорит, — не бейте». Ну я, признаться не стерпел. Был грех, пустил ему юшку из носа.

У Вебера перекосилось лицо.

— Какой он из себя, этот Ранге? — Ганс говорил с трудом, будто клемшами вытаскивал из горла слова.

Ганек усмехнулся.

— Ты что же, товарища признал?

Ганс понял сразу, — будто иглой пронзили голову. Заключенные считают его «лягавым», — так они называют провокаторов. Ганс вскочил с нар.



— Товарищи, да что же это... Да как же это вы... Да ведь я...

— Ну, ну не скули, бить не будем. Парень ты тихий, — сказал Ганек хрипло, — только того, и нам ты надоел и тебе не к чему здесь сидеть.

Ганс стоял оглушенный гудящей в ушах кровью. Сердце ширилось в груди, вот, вот разорвется. Не выдержал. Бросился на дверь, обитую железом, барабанил по ней кулаками, разбив до крови руки. Щелкнула форточка «волчка». Сердитый заспанный взгляд надзирателя Шурубе скользнул по казарме. Загремели ключи.

— Ты что, белены объелся? В холодную захотел?

Ганс бросился на надзирателя с поднятыми кулаками, но, отброшенный сильным ударом ноги, полетел на пол. Дверь камеры захлопнулась

Заключенные недоумевающие переглянулись: было непонятно, почему надзиратель не выпустил «лягавого»?

Ганек ответил немому недоумению товарищей.

— Старый хрыч сегодня пьян, вся морда опухла, — где уж ему разобрать, кто -стучал.

Ганс лежал на полу, не шевелясь, неповоротливый, тяжелый, как труп. Но мысли не отступали, сверлили голову.

«Что делать? Как объяснить заключенным их страшную ошибку? Говорить, убеждать, рассказать всю свою жизнь, причину ареста? Все равно ведь не поверят, даже слушать не станут. Что бы такое совершил. Чем бы их убедить? Придумать план побега. Вовлечь в него всю камеру... На воле, если удастся побег, его поймут и оценят. Но как бежать?

Ганс перебирал десятки планов один невозможнее другого.

VIII.

Министр проснулся от собственного кряка. Холодный, липкий пот покрывал все его тело. В комнате было темно, и живое чувство ужаса не проходило. Министр дрожал в ознобе. Темнота плотно окружала его со всех сторон. Темнота была страшной, как неведомое чудовище. Министр потянул шнур выключателя. Темнота отступила в углы комнаты. Министр сел на постели и свесил голые ноги вниз.

— Меня убьют, мне не простят июльских дней... Когда-нибудь белокурый гигант с голубыми глазами бросит в меня бомбу. Белокурый гигант с голубыми глазами... Да ведь это же Вебер, анархист, сидящий теперь в тюрьме... В тюрьме ли?

Министр подбежал к телефону и вызвал начальника тюрьмы.
«Ночью будить человека, показать себя трусом...»

Министр колебался недолго. Страх был настойчивее рассудка. Заспанный сердитый голос загудел в трубке:

— Какого чёрта нужно?

Министр назвал себя, Министр заставил себя говорить спокойно, логически строить фразу.

— После истории с побегом вас надо было уволить, но я решил проверить вашу бдительность. У вас все в порядке сегодня? Никаких сюрпризов?

Голос начальника тюрьмы стал сладким до тошноты. Начальник тюрьмы улыбался, будто его могли видеть. «О, господин министр может быть совершенно спокоен. Из камеры одиннадцати теперь никто не убежит, даже если убрать часовых».

— Сделайте сейчас лично обход, — сказал министр, строго и повесил трубку.

«Черта с два!» — подумал начальник, забираясь под одеяло.

Министр тяжело опустился в кресло у письменного стола. Спать он уже не мог.

В восемь часов утра в кабинет настойчиво постучал секретарь. Дело не терпело отлагательств. Рабочие огромного металлургического завода Вархаловского устроили стачку, вылившуюся в громадную демонстрацию протеста против реформы конституции.

«К чёрту! Мне нет до этого никакого дела. Плевать я хотел на все! Расхлёбывайте сами», — подумал министр, но не сказал. Перед ним в почтительной позе стоял секретарь. Секретарь ждал от него вешнего слова. Секретарь верил в его могущество. «Пожалуй, чего доброго, еще посоветует мне лечиться», — эта мысль окончательно привела его в бешенство. Голосом, сорвавшимся до хрипоты, он закричал на опешившего секретаря:

— Разогнать! Вывести навстречу усиленные наряды полиции! Пулеметы! Войска! Открыть огонь! Произвести аресты! Разогнать во что бы то ни стало!

Секретарь выскочил из кабинета министра, как ошпаренный. В такой ярости он его никогда еще не видел. Вот уж действительно «незаменимый». «Железная рука», диктатор. И, подражая министру, грозным голосом секретарь стал отдавать по телефону распоряжения.

Поздно вечером министр выслушивал благодарности от делегаций крупных промышленников Вены. Спокойный к величественный, он сиял улыбкой, орденами, гладко выбритым лицом. Он занимал постоянное место в «балагане». Он улыбался перед тысячами чужих глаз.

... В госпиталь свозили раненых. В морг — мертвых. В тюрьмы — живых.

IX.

Хлеб был коричневым и вязким, как глина. Вебер долго мял его. Он сосредоточил все свое внимание на бесформенной, отвратительного вида массе. Вскоре под гибкими ловкими пальцами стали обрисовываться формы: двойное дуло, мушка, кожух, рукоятка, гашетка, ободок, все было выполнено до мельчайших подробностей. Вебер покрыл сажей вылепленную модель браунинга и остался доволен своей работой. В темноте с трудом можно было отличить модель от настоящего браунинга. Да к тому же еще с пьяных глаз...

Мнение, высказанное начальником тюрьмы по телефону премьер-министру о камере одиннадцати, разделяла вся тюремная администрация. Надзор ослабел. Не только надзиратель Шурубе

прикладывался к пузатой бутылочке. В тюрьме царствовало открытое пьянство.

В эту ночь метель выла злобно и жалобно. Основательно согреввшись добрым старым сливовицем, надзиратели сладко дремали, пропуская обход за обходом.

Напившись до чёртиков, надзиратель Шурубе дремал в коридоре на табурете, по обыкновению свесив голову между колен. Настойчивый стук в дверь камеры разбудил его.

— Я вам постучу, сукины дети, — сердито пробурчал Шурубе и с трудом поднялся с табурета. Но дойдя до двери камеры, он забыл, что его вызвало к ней. Машинально, еле двигая налитыми свинцовкой тяжестью руками, отомкнул дверь и вошел в камеру.

Все последовавшее затем было быстро и неправдоподобно, как в кинематографе. Надзиратель Шурубе увидел направленное на себя дуло револьвера, услышал грозный шёпот приказывающих слов. Но страшнее револьвера и слов были глаза Вебера: Шурубе прочел в них смерть, смерть в случае неповиновения. Гансу не потребовалось и десяти минут для того, чтобы вынуть у пьяницы из кобуры револьвер, снять с него шинель (в тюрьме было холодно, и надзиратели дежурили в шинелях), мундир, сапоги, фуражку, связать ремнем руки и нога беспчувственному от страха Шурубе, заткнуть ему рот портянкой и облачиться самому во все экспроприированные вещи. Одежда пришлась Гансу впору. Шурубе был одного с ним роста. Подобрав с пола форменную фуражку, он окончательно завершил экипировку, Заключенные с любопытством следили за ним. Глухим от волнения голосом Вебер обратился к ним:

— Товарищи! Произошла жестокая ошибка... Я такой же рабочий, как и вы. Шпионом никогда не был и не буду. Сейчас вам докажу это на деле. Дверь из камеры открыта. У меня револьвер... мы пробираемся в коридор...

— ... И нас встречают залпами надзиратели, твои милые друзья. Ладно, ладно, парень, не спровоцируешь. Крой лучше отсюда, пока кости целы. А то, знаешь? — Ганек сделал выразительный жест рукой.



Вебер перемахнул через стену.

Свободен.

Он рассмеялся. Смех едва не перешел в истерику. Он не спал несколько ночей. Нервное напряжение, девшее ему силы выполнить все задуманное с таким упорством и смелостью,

Вебер повел головой из стороны в сторону, ему не хватало воздуха. Глаза его налились кровью. Казалось, он бросится на тщедушного Ганека и задушит его. Прошла минута, две... Вебер махнул рукой и вышел из камеры.

Затаив дыхание, заключенные ждали развязки.

Вебер беспрепятственно выбрался на двор, обезоружил сонного часового, связал его собственным ремнем, взобрался на будку и перемахнул через ворота.

Только за несколько кварталов от тюрьмы Ганс вздохнул полной грудью. Он был свободен...

прошло. Он едва держался на ногах от усталости. Дул холодный пронзительный ветер. Зябко кутаясь в шубы, проходили запоздалые прохожие. Вебер сжал зубы. Последним усилием воли он старался сосредоточить свои мысли.

Куда идти? На свою старую квартиру он не может явиться, — это ясно. Но ему необходимо отдохнуть. Утром ему предстоит дело, требующее сосредоточения всех духовных и физических сил. Завтра утром он убьет премьер-министра. Это крепко решено. Что будет потом, ему все равно. Лишь бы совершил задуманное. Он разрешит задачу, заданную ему министром. Министр не будет мстить десяти заключенным за его побег. Десять заключенных поймут свою сшибку. Но что делать до утра? Ганс нашупал в кармане бумажник. У ближайшего фонаря рассмотрел его содержимое. Деньги... Шурубе не успел еще пропить полученное сегодня жалованье.

Бесполезное открытие. Деньги его не выручат. Безумием было бы пойти в гостиницу.

Ветер дул все резче, все пронзительней. Зубы Ганса стучали от холода. Надо ходить, иначе он замерзнет. И Ганс шел квартал за кварталом. Ноги подкашивались, ныло под ложечкой, темнело в глазах. Еще квартал и... Ганс схватился за фонарный столб, он едва не упал, так закружилась голова.

Эту ночь Ганс Вебер провел на улице.

Вебер шел к не узнавал города. Город был прекрасен. Может быть потому, что Вебер шел на смерть.

Утро было прекрасным, теплым и легким. Над городом прошел дождь, и город выглядел свежо и румяно.

В городе было много домов, много людей.

Неправда! Во всем мире был только один дом! Один человек!
У этого дома стоял автомобиль, к этому дому шел Вебер...

— Я еду в министерство, — сказал министр, отдав последние распоряжения секретарю.

Министр тяжело спускался по лестнице, покрытой ковром. Благообразный швейцар с седыми баками почтительно распахнул зеркальную дверь и в краткой вспышке сознания министр увидел между дверью и автомобилем искаженное лицо человека.

«Лицо» ... надо было вспомнить... надо было вспомнить во что бы то ни стало... чье это лицо?.. Сознание погасло... министр не вспомнил...

Грунзное его тело лежало на тротуаре...



*Междудверью и автомобилем министр
увидел Вебера.*

В городе было очень много домов... очень много людей... дома вертелись в глазах у Вебера... люди наседали на него.

X.

Наверху, почти под самым потолком, за черной рябью решетки был голубой кусочек дня. Серый воробушек, усевшись на ржавый прут, степенно чистил перышки. Большая синяя муха жужжа летала по камере. Из щели иола выполз черный, лакированный таракан. На грязных стенах копошились клопы. В углу паук плел затейливые узоры паутины. Затихло жужжание мухи. Муха попала в паутину. На тонких геометрических лапках спешил к мухе паук.

Тишина. «Как в склепе» ...

Ганс вздрогнул. Мысли о склепе привели за собой мысль о погребении.

Да он погребен. На многие годы. Может быть навсегда. Только бы не думать об этом. Не думать. Нужно зажмурить глаза...

В детстве, состязаясь в ловкости и смелости с товарищами, Ганс прыгал с высоких заборов. И было так: если зажмуришься и не думая прыгнешь, — ветер в ушах, острая боль в пятках и... все. Но стоит посмотреть вниз, и начинаешь нерешительно приседать.

Погребен на многие годы... Только б не думать об этом! Веко правого глаза дергается, будто его тянут за ниточку. Сумерки вползают в камеру.

Несколько дней тому назад в этой же тюрьме в большой камере десять человек, которых Ганс считал бы за счастье назвать своими товарищами, подозревали в нем шпиона. Узнают ли они правду о нем?

Ганс сжал руки.

Бешенство овладело им. Темная стена надвигалась на него.

Страх был маленьkim зверьком. Зверек шевелился, в груди, долго подбирался к горлу, медленно выползал из перекошенных

губ тихими всхлипами и наконец вырвался волчым протяжным воем.

Крики рвались в маленькой одиночной камере. Ганс зажимал руками рот. Крики прорывались сквозь пальцы.

Чёрт хмуро спорил со стариком Зольде. В камере жили задним числом. Только теперь узнали о новом расстреле рабочей демонстрации. Зольде не понимал, почему партия не совершает террористического акта над премьер-министром, расстреливающим рабочих. Бывший социал-демократ с трудом удерживался на коммунистической точке зрения. Его потрясенному разуму ближе был анархизм. Хмурый Чёрт спокойно доказывал старику нецелесообразность индивидуального террора. Убьют одного ставленника фашистов, на смену появится другой. Партия борется не с отдельными личностями, а с классом.

Щелкнул замок. Чёрт оборвал на полуслове и обернулся к двери. С трудом подавил радостный крик. В сопровождении надзирателя в камеру входил новый заключенный.

Когда надзиратель, тщательно заперев дверь, удалился, Чёрт бросился к новичку.

— Ганzen! Вот так штука! С чем тебя можно поздравить?

Ганzen улыбнулся.

— С «государственной изменой».

Обернувшись к заключенным, Чёрт представил Ганзена:

— Товарищи, перед вами один из редакторов «Роте Фане».

Наконец-то мы узнаем, что делается на воле.

Ганzen шутливо поморщился.

— Кому горе, кому удовольствие. Вы здесь, вероятно, ни черта не знаете.

Заключенные засыпали Ганзена вопросами. Он подробно отвечал всем. Наконец, как конферансье, объявляющий самый интересный номер программы, сказал, раздражающе растягивая слова.

— А насчет премьер-министра вам ничего не известно?

Немой вопрошающий взгляд десяти пар глаз был ответом Ганзену. Он выдержал маленькую паузу:

— Тяжело ранен при покушении несколько дней тому назад.

Вся камера ахнула:

— Кем?!

Ганзен потер лоб.

— Ребята, а ведь вы должны знать. На министра покушался бежавший из вашей тюрьмы молодой беспартийный рабочий Ганс Вебер.

Пауза.

Тихо, тихо, так что едва слышал собственный голос, Ганек спросил:

— Арестован?

Добродушное лицо Ганзена стало суровым.

— Да, ему обеспечено долголетнее заключение...

Первым опомнился Чёрт:

— Так вот почему уволили начальника тюрьмы и надзирателя Шурубе...

Гане к добавил:

— В тюрьме уже несколько дней все надзиратели ходят как потеряянные.

Мерк всхлипнул:

— Значит он лгал только из хвастовства. А мы подозревали в нем лягавого. Может быть из-за этого они пошел на такое дело.

В камере были слышны сердца одиннадцати человек. Внезапно все вздрогнули и насторожились...

Кричал человек. Крик переходил в вой, в рыдания. Отчаяние билось в стены.

У Чёрта перекосилось лицо. Он дрожал, будто его голым выпустили на мороз. Лица заключенных были покрыты страшной серой бледностью.

Чёрт не выдержал. Крики Вебера душили его. Схватив табурет, он изо всей силы швырнул его в дверь камеры. Табурет разлетелся в щепы. Заключенные обезумели. Все, что можно было сломать, было сломано. Руки были разбиты в кровь. Колотили в стены до онемения в суставах. С покрытых пеной губ срывалось имя:

— Вебер! Вебер! Вебер!

Уже стучали в коридорах сапоги надзирателей. Но сейчас ничто не могло остановить заключенных. Всполошились все камеры. Казалось, дрожали стены тюрьмы. Те, кто не знал, в чем дело, почувствовали.

Вебер затих. Вебер услышал. Горячая волна спокойствия разлилась по всему телу. Вебер запел. Это произошло помимо его сознания. Вебер пел песню революции, песню борьбы и победы. Слова горели на его испепеленных губах. В голосе была радость и слезы.

Песня билась о стены тюрьмы. Тюрьма пела. Не было тюрьмы, была песня.



Рассказы

БУНТ КОРНЮШИНА

ПРОФЕССОРА

РАССКАЗ ПОСВЯЩАЕМЫЙ ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИИ НАУК.

I.

«Интересные наблюдения в области изучения способов мышления животных... Ха, ха, ха! Кому это принесет теперь пользу, профессор? Сейчас не во всякую область мышления человеческого удается проникнуть чекистско-следовательскому и психологическому скальпелю. А вы с животными, профессор, лезете. Кому это нужно теперь? Ха, ха, ха! Правильно, правильно!».

Мороз 15° по реомору. Снег твердеет и звучнее хрустит под ногами. Выше изъеденный молью, облысевший от старости воротник шубы.

Споткнулся, почти провалился в чудовищную выбоину в мостовой. Опасно переходить с тротуара па тротуар. Все мостовые изрыты фантастической оспой. Похоже на то, что снаряды выплясывали на них залихватскую русскую. А, впрочем, вероятно, особенно энергичные и смелые обыватели выкапывают деревянные торцы для отопления «буржуек». Счастливые люди, у них есть для этого достаточно силы и мужества. А сейчас дома, наверное, опять вышли все дрова, и жена ежится от холода в потертой выцветшей ротонде, из-под которой выглядывает мокрый носик озябшей болонки, и ворчит. Как, однако, она обрюзгла и измельчалась...

«Значит химически чистый кальций... Вопрос растворяемости... Вы, кажется, ничего сегодня не ели,

профессор?.. Ну, и чёрт с ним, с голодом... главное — чтобы никто не мог упрекнуть... Ведь лекция велась безукоризненно... к чёрту голод, к чёрту область мышления животных... Если-б найти только эту формулу... Он, профессор Корнюшин, показал бы тогда оксфордским джентльменам, которые пожирают кровяные бифштексы, потягивают, по слуху «туманов», согревающее виски с содовой и так глупо, зверски и бестолково разрешают терзать и без того истерзанную, корчащуюся в муках голода и рождения новой жизни — его Россию».

«Всего лишь одно соединение... одна формула... Его открытие принято на рассмотрение Реввоенсоветом... Он от всех держит его в тайне... Не потому, что скажут: профессор Корнюшин продался большевикам... нет, не потому, плевать... это теперь военная тайна... Даёт ли ему Реввоенсовет средства на ведение дальнейших работ... всего лишь одна формула осталась неразрешенной» ...

«Вот они идут измученные, оборванные, голодные, но бодрые, с горячей верой, наполняющей их сердца отвагой... руки заскорузлые, побуревшие от мороза, сильнее сжимают винтовки... когда-то эти же самые винтовки защищали «веру, царя и отчество», теперь же Северную Коммуну от Юденича, интервентов. Ничего, ничего, погодите, только одна, формула, и тогда... сильнейшее оружие будет в ваших уставших руках... рабочие дружины» ...

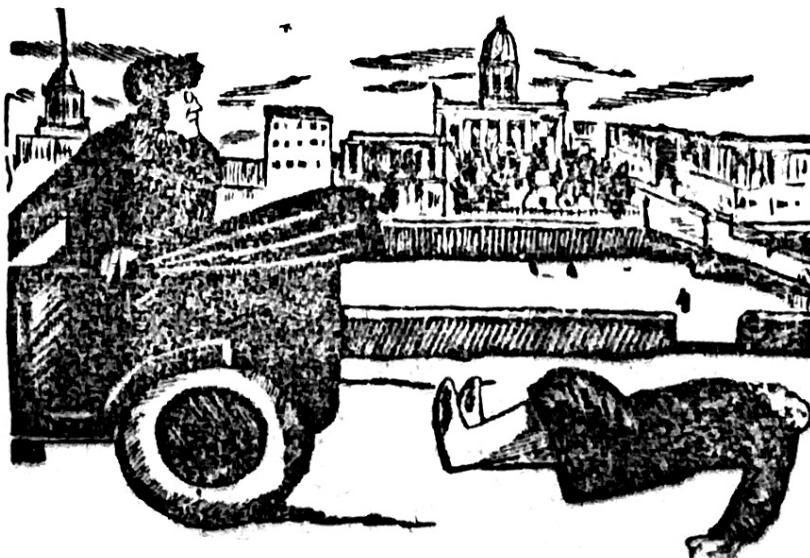
Трамвай! Скорее бы добежать... Может удастся пробраться... вероятно последний, они теперь ходят только до шести...

Профессор Анатолий Андреевич Корнюшин, почетный академик, имеющий значительную иуважаемую известность за границей, побежал «как мальчишка», путаясь ногами, обутыми в огромные валенки, вслед за трамваем, переполненным до отказа, но все же осаждаемым спешащими домой со службы, замерзшими людьми.

«Ничего не поделаешь, единственный, возможный для нас простых смертных, способ передвижения. Да и к тому же он, кажется, теперь совершенно бесплатный».

На подножках, на поручнях гроздьями висели люди. Профессор машинально бежал рядом и выискивал глазами хоть кусочек свободного места, где могли бы умоститься его усталые ноги. Чей-то прорваный валенок, латанный ременной кожей, потиснулся вправо, и Анатолий Андреевич, улучив минуту, вскочил на подножку.

— Эй, ты, банабак, чего взад меня штурхаешь! Я тебя как садану, так ты у меня живо отстанешь. Ишь ты, прилип как.



Трамвай усилил ход. Профессор старался вобрать в себя как можно больше давно потерявший былое величие живот, чтобы не вызывать ругательств у своего задочуткого соседа. Он почти повис в воздухе. Вдруг у него истошно заныло под ложечкой, в глазах

завертелись мутные круги и внезапно обессилевшие руки разжались, выпустив поручни. Снежная мостовая, убегая от падающего тела, сильным рывком отпружила его вверх. Мелкотолченым стеклом оцарапал, ожег лицо снег... Но еще сильнее ожгла внезапно вспыхнувшая мысль... Открыл... нашел... растворение сернокислого... А, а, а! Острые огненные ниточки протянулись по всем извивам мозга... Тьма...

Професор потерял сознание...

II.

— Те из нас? а ком еще уцелело чувство долга перед человечеством и цивилизацией, продолжают вести работу в самых немыслимых, тяжелых условиях. Лаборатории не отапливаются, не то, что нужных приборов и инструментов нет, нет даже простой писчей бумаги. По-настоящему снабжаются только театры. Это единственная культурная ценность старого мира, которая теперь бережется. Народу, видите ли, нужно дать хлеба и зрелицы... Хлеба нет, ну, что-ж, пусть насыщаются зрелицами. Шаляпин расточает перлы своей игры и голоса перед сморкающимися в руку во время действия «товарищами».

Корнюшин посмотрел сквозь бинты, оползающие на глаза, на своего собеседника. Это был знаменитый профессор индолологии, Ларин. Он был чрезвычайно бледен и так похудел, что Анатолий Андреевич с трудом узнал его. Платье, потертое и лоснящееся, висело на нем мешком. Глаза у него были усталые и мутные. Разочарование гнетущее, доходящее до апатии, разочарование ненужного, выброшенного за борт привычной жизни и заботливого ухода человека сквозило в них.

Анатолий Андреевич после своего падения с трамвая несколько минут пролежал в снегу без сознания. Его подобрал какой-то «комиссар» в медвежьей дохе, проезжавший мимо на отвратительно воняющем керосином автомобиле. Он отвез

стонущего Корнюшина в бывший дворец великой княгини Марии Павловны, только-что превращаемый в Дом Ученых. Профессору оказали медицинскую помощь, приготовили ванну, положили в застеленную грубыми холстинковыми, но чистыми простынями кровать и накормили горячим ароматным бульоном. Приятная истома разлилась по всему ушибленному, разбитому, (серезных повреждений не оказалось) телу. Он сейчас мучительно хотел покоя, а его окружали знакомые научные деятели и их желчные дышащие горечью и злобой разговоры раздражали его.

— В ком из нас уцелело чувство | долга перед человечеством и цивилизацией. Интересно знать, господин Ларин, кого вы подразумеваете под словом человечество? Вероятно, не тех оборванных и голодных, которые сморкаются в руку и насыщаются пением и игрой Шаляпина. Вы их даже не удостаиваете звания людей только потому, что они теперь, в 1919 году, едва унесшие головы от падающих обломков разваливающейся старой России, оборванные и голодные, сморкающиеся не в платок, а в руку, не интересуетесь вашей индологией и единственным в мире санскритский словарем, моими интересными взысканиями в области мышления животных и т. п. Ах, Ларин, Ларин, как мы привыкли с вами быть значительными и нужными. Нам хочется, чтобы с нами носились и окружали заботливым уходом, иначе мы, тепличные, нежные растения, захиреем и завянем. Нам кажется, что мы, ученые, являемся осью, вокруг которой вертится весь глобус земного шара. Вы смеялись над Марксом, называли его патриархальнобородым пророком, а посмотрите-ка теперь на себя: вы ослабели физически, а посему и морально, настолько, что неспособны по-прежнему мыслить и работать. Значит, вам тоже хочется крикнуть: «Хлеб наш насущный дааждь нам днесь».

Профессор Корнюшин захлебнулся истерикой.

III.

Анна Тимофеевна сидела сжавшись в комок на просиженном диване и старалась дыханием оживить остывающий трупик болонки. На столе, покрытом газетной бумагой, лежали корки недоеденного, засохшего черного хлеба. Маленькая заржавевшая, давно нетопленная печурка, «буржуйка», приткнулась покривившейся трубой к кафельной печи и слушала в дымоходе метельные заунывные песни... Анна Тимофеевна смотрела пустыми стеклянными глазами куда-то поверх головы мужа и роняла жалобные тосклиевые слова:

— Умерла моя Топси... моя маленькая, никому не нужная Топси... Не жалей об этом, моя бедная собачка... У нас, ведь, теперь так холодно, пусто и неуютно... Неправда ли, тебе трудно было, бы поверить, что где-го на далеком западе сейчас такие, как ты, маленькие, хорошенечкие собачки, имеют нежный заботливый уход, теплую постельку и хорошую еду, специально приготовленную для маленького желудка... Не верится, правда, не верится, Топси... я тоже не могу себе представить сейчас города, оживленные, сияющие тысячами огней, с блестящими витринами магазинов, с красивыми, хорошо одетыми женщинами, которые не думают о том, какие вещи еще остались для обмена на рынке. Не думают об очередях, продовольственных карточках и пайках... Не жалей, Топси...

Анатолий Андреевич несколько минут молча, ошеломленный, смотрел на жену. Потом вдруг подскочил к ней, резким решительным движением схватил за шиворот труп собачки и отбросил в дальний темный угол комнаты. Сорвав с головы меховую шапку, он, ероша волоса и раздирая туго свернутое вокруг шеи кашне, прохрипел, задыхаясь...

— Анна, твоя истерия граничит с безумием!.. Очнись, ты бредишь, ты похожа на актрису, играющую в сентиментальной немецкой мелодраме.

— Анатолий!.. — бормотала она, цепляясь худыми руками за шею мужа, — Анатолий, ты жив, ты пришел. Я думала, что тебя



тоже убили, ведь-теперь это случается даже на улицах, среди белого дня... Анатолий, я не могу больше оставаться здесь, в бывшем Петербурге, я не могу больше быть бывшим человеком. Умоляю тебя, продадим последнее, уедем за границу... Там у нас родственники, нас приютят, ты найдешь себе работу, ты, ведь, известен там, уедем... Я не могу больше... не могу!..

Професор смотрел на ломающую руки, рыдающую жену и не чувствовал жалости. Волнующее новое прекрасное чувство властно завладевало им. Крепло решение...

— Я не уеду, Анна. Это подло. Я не хочу быть тем, кого изрыгнула революция, новая жизнь. Я никогда не был бунтарем,

Анна. Но сих пор моя жизнь, как и жизнь многих мне подобных, текла по точно размеренному спокойному руслу. Я знал только свою научную работу, а теперь я взбунтовался против тех, кто всегда опутывал меня каким-то темными запутанными понятиями о чести и традициях. Многие из моих товарищей, великие ученые и люди, они продолжают работать и верить в грядущее свое признание и нужность и верь мне, что пройдет немного лет, и этот народ, голодный и оборванный, сморкающийся в руку, будет рукоплескать им, будет поздравлять их и превозносить.

Анна Тимофеевна потерла виски побелевшими пальцами и недоуменно посмотрела на мужа.

— Я тебя не понимаю, Анатолий, ты говоришь что-то странное... у меня ломит голову... у нас нет денег, нет дров, нет провизии... мы, наверно, медленно умираем.

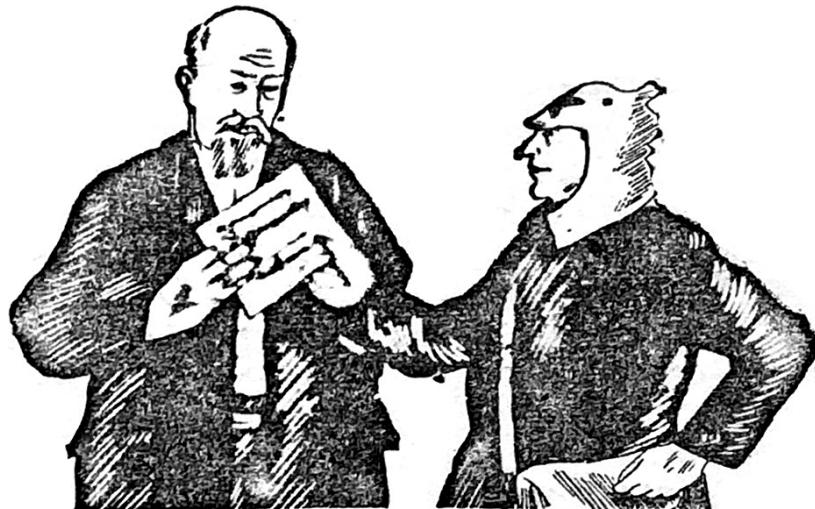
Профессор возбужденно забегал по комнате.

— Мы не умрем, не бойся. Я понял теперь то, что давно должен был понять. Помню, я где-то читал, кажется в биографии Ньютона, что он, как и все великие люди, был абсолютно непрактичным в жизни. Это надо изжить. Я пойду в любое советское учреждение, где нуждаются теперь в просто грамотных людях. Я буду писать входящие и исходящие, как любая совбарьшина и попутно работать у себя в лаборатории. Ты плачешь над трупом болонки и совершенно не хочешь подумать о том, что на улицах, в метели, десятками валяются трупры погибших от голода и мороза людей. Тебе грезятся сияющие огнями города Европы, а я сейчас, сквозь тьму суровых и тяжелых годин гражданской войны, вижу прекрасную и великую будущность нужной и ценимой науки.

Профессор увлекся, подошел к окну и прижался пылающим лбом к замерзшему стеклу.

Вздрогнул. Резкий нетерпеливый звонок. Кто это может быть так поздно? Побежал к выходным дверям. Кожаная тужурка, буденка, сумка на ремне, кобура револьвера на боку, в руках...

— Вы будете профессор Анатолий Андреевич Корнишин? Вы? Прекрасно. Срочный пакет на ваше имя. Из Реввоенсовета. Только поторопитесь, профессор, внизу нас ждет машина...



Кровь радостной волной прилила к сердцу... принято, оценено... Ему дают возможность работать... Он больше уже не лишний человек... Работать...

Зеленая старая военная машина подпрыгивала па ухабах, проваливалась в рытвины... Далеко позади остались... Крюков канал, жена, плачущая над трупом болонки, старая салопническая гнилая жизнь. Петербургская тьма забытых глухих переулочков и улиц... Впереди живые, лихорадочные огни окон, работа, сияние какого-то нового будущего.



Всматривались ли вы когда-нибудь внимательно в служителей цирка, в этих нехитрых партнеров рыжего? В своих ливреях, обшитых позументами, они напоминают

Иванов, переодетых в королей. А шпрехшталмейстер? Он всегда гладко выбрит, с непременной американской фамилией, фраком и лаковыми башмаками.

Вы спрашиваете, что было в тот вечер? В тот вечер, так же, как и во все предыдущие, сквозь шеренгу голубых ливрей пробрался на арену черный фрак.

— Женщина-джигит Фатима Шерафединова! — Голос мистера Доджа выводил протяжные модуляции, и гулкое эхо под куполом вторило ему.

Горячимый выкриками, понесся по арене норовистый, огневой конь. После нескольких кругов, не изменяя аллюра, одним упругим быстрым движением, как разогнувшаяся пружина, Фатима Шерафединова встала на спину лошади. Она выхватила шашку из ножен, и кривое казацкое лезвие обвило ее стальным серпантином. Потом последовала джигитовка: Фатима поднимала на всем скаку сброшенную на песок папаху, волочилась по арене, зацепившись ногой за стремя, одним взмахом взлетала в седло и заканчивала свое выступление холостым выстрелом в мишень, разлетевшуюся разноцветным дождем конфетти.

Вы говорите — аплодисменты? Нет, в тот вечер Фатима не вышла раскланиваться. За кулисами растерянный мистер Додж сообщил ей, что «любимец публики шут-сатирик Бильбоке» исчез из цирка за две минуты перед своим выходом.



В ревкоме матрос, увешанный гранатами, хотел без лишних слов «шлепнуть» запыхавшегося черкеса, ломящегося в подъезд без пропуска, и только фамилия, которую произнесла задыхающаяся от бега Фатима, спасла ее от смерти.

— Мне нужен товарищ Ловцов. Он знает меня. Передайте ему... — с трудом выговорила, глотая воздух, Шерафединова. Матрос, с любопытством оглядев «ряженую бабу», послал к предревкома солнного красногвардейца.

Ловцов, едва взглянув на Шерафединову, сразу отверг всякую возможность длительного объяснения. Он одновременно выслушивал донесения по телефону, и подписывал какие-то депеши.

— Мы эвакуируемся, — сказал он Фатиме. — Мы эвакуируемся... идите домой... Ваш муж... он останется в подполье...



Предместья были засыпаны снарядами, город — цветами обывателей. По улицам мчались грузовики с юнкерами. Гимназисты швыряли в воздух фуражки, надрывно кричали «ура», срывали со стен большевистские плакаты.

Фатима задернула занавеской окно и легла ничком на кровать.

Впервые она была под конем, под чудовищным конем событий. Впрочем, на коне была только Фатима Шерафединова — «женщина-джигит», а под конем — всегда Нина Николаевна Сивачева, надломленная горем женщина, лежавшая сейчас ничком в кровати.



Нина Николаевна Сивачева родилась на Кубани. Она росла и воспитывалась в станице. Смутно помнит она ту далекую пору детства, когда впервые взобралась, на неоседланную спину коня. Вернее сказать, она не помнит этой поры, будто родилась на коне, неотделимой частью его существа.

Семнадцати лет она впервые покинула станицу, переехала на жительство к дядюшке, который держал в Москве большой трактир.

В Москве на святки дядя повел ее в цирк, и это решило ее судьбу. Это недолгая история о молодой казачке, влюбившейся очертя голову в циркового наездника. По первому его зову она бросила семью, стала его партнершей на цирковой арене, кочевала с ним из города в город. Так родилась Фатима Шерафединова, женщина-джигит, долгие годы прощавшая своему сожителю побои и унижения. Незадолго до революции в киевском цирке вместе с ними служил Василий Петрович Сметанин. Он ничем не походил на статного, красивого и грубого сожителя Нины Николаевны. Хилый, тщедушный, некрасивый, всегда преследуемый полицией за резкие антиправительственные выпады, — «любимец публики шут-сатирик Бильбоке», блестательный на арене, скромный и молчаливый в жизни, вскоре стал для Нины Николаевны тем человеком, за которым, не оглядываясь, идут в огонь и в воду.

В восемнадцатом году Нина Николаевна и Сметанин служили в одесском цирке. Впервые на цирковой арене завязалась борьба, ожесточенные схватки между большевиками и эсерами.

В цирк вошла революция, шут-сатирик Бильбоке первый из циркачей стал большевиком, и его блестательное остроумие не давало покоя соглашателям.



По городу громыхали трамваи, разукрашенные трехцветными флагами. На Екатерининской улице торговали цветами и валютой. И там, где гордые лилии склонялись над пышными розами, — грустные «колокольчики» флиртовали с легкомысленными франками, а надо всем царили фунты и доллары.

Нина Николаевна шла шатаясь. Плыли и качались в глазах дома. Нина Николаевна закрыла глаза. Она увидела повешенных, жуткими знаменами полыхавших на фонарях ярмарочной площади.

Она возвращалась с уцелевшей конспиративной квартиры, где узнала, что Сметанин арестован, что его должны расстрелять. Она ушла в контрразведку к неведомым палачам, — умолять, грозить, подкупать.

★

В контрразведке молоденький адъютант всемогущего полковника Шихонина сообщил Нине Николаевне:

— Полковник — большой любитель цирка, мадам, и непременно будет сегодня на грандиозном представлении в пользу добровольческой армии. Фатима Шерафединова, пожирательница мужских сердец, блеснув выступлением... Полковник большой ценитель женской красоты, мадам...

В глубине губернаторской ложи, за тяжелым бархатом занавесей, полковник Шихонин разделял благосклонное общество генерала Шиллинга. Генерал усердно аплодировал Фатиме Шерафединовой. Шихонин был в восторге.

— В этой женщине сидит чёрт. Я добрый христианин, — полковник звякнул шпорами, — вы меня простите, ваше превосходительство, я пойду изгонять чёрга.

Шихонин, не очень рассчитывавший на успех, был удивлен, когда, после недолгих увещаний, Фатима Шерафединова поехала с ним на казенной машине в ресторан «Летучая мышь».



— В этой женщине сидит чёрт... Я пойду изгонять чёрта!

ее стальным серпантином, «Вот он сидит, такой же наглый и отвратительный, каким был вчера, когда обнимал меня, а Василий...» Фатима волочилась по арене, зацепившись ногой за стремя. «Я заплатила ему собой за жизнь Василия, а Василий мертв...» Одним взмахом Фатима опять взлетела в седло, вскинула винтовку к плечу, и многократный, повторенный куполом цирка,

В тот вечер, так же как и во все предыдущие, сквозь шеренгу ливреи пробрался на арену черный фрак.

— Женщина-джигит Фатима Шерафединова! — гулкое эхо под куполом вторило голосу мистера Доджа.

Конь понесся по арене. После нескольких кругов упругим быстрым движением, как разогнувшаяся пружина, Фатима Шерафединова встала на спину лошади. И перед ней, как на параде, развернулся весь амфитеатр цирка.

«Вот он сидит в той ложе, где сидел вчера». Фатима выхватила шашку из ножен, и кривое казацкое лезвие обвило

рассыпался выстрел. Вы говорите — аплодисменты? Нет, в тот вечер Фатима не вышла раскланиваться. Мишень не разлетелся разноцветным дождем конфетти. Кто-то на галерке, крикнул:

— Промах! На конюшню!

Растерянный мистер Додж объявил следующий номер программы.



«Скорый» Одесса-Киев с шумом и свистом брал версты. В купе первого класса какой-то «почтенный» коммерсант невнимательно читал газету. Его смущали женские ноги, чуть кривы как у кавалеристов, с выпуклыми мышцами, обтянутые черными шелковыми чулками. Женщина лежала с закрытыми глазами, но по легкому дрожанию век коммерсант судил о том, что она не спит.

— Сегодня, — заговорил нерешительно коммерсант, воспитанно кашлянув в руку, — в «Одесских Новостях» очень интересная новость.

Не дожидаясь приглашения, он приблизил к близоруким глазам газету и прочел вслух:

— Вчера в цирке, после представления, в «глубине губернаторской ложи обнаружен в кресле начальник контрразведки полковник Шихонин с простреленным черепом. Ведется расследование.

Коммерсант тяжело вздохнул. Ужас, что творится на белом свете. Как это вам нравится, а?

Женщина встала с дивана и, ничего не ответив, вышла из купе. Она долгое время стояла в проходе у открытого окна. В ее пустых глазах отражались огни мелькающих станций.



I. Товарищ, мистер и третий

В один и тот же день в Нью-Йорк прибыли два человека. Событие само по себе малозначительное, если принять во внимание, что в город этот с семимиллионным населением ежедневно приезжает из разных мест до полутора миллионов человек.

Товарищ Савичев, представитель Амторга, прибыл из Шербурга на пароходе «Олимпик». Мистер Нельсон, крупный лесопромышленник, экспрессом из штата Мен.

И тот и другой остановились в отеле «Пенсильвания» — в самой большой гостинице Нью-Йорка и всего мира. Савичев в отель прикатил из гавани на авто, Нельсон с Пенсильванского вокзала (находящегося против гостиницы) прибыл по подземной дороге, подвезшей его к самому лифту.

Американцу номер был заказан по телеграфу, в отеле он останавливался уже не в первый раз, и поэтому без новых впечатлений, без обычных формальностей он через несколько мгновений предстал у себя в номере перед поджидавшим его компаньоном, лесопромышленником мистером Холлом.

Русский не избежал впечатлений и формальностей. Грязной и однообразной показалась ему пристань с бесконечными красными зданиями пакгаузов, Громады небоскребов, словно футуристические рисунки, намалеванные на серых полосах картона, мчались мимо авто на центральных улицах. И наконец отель «Пенсильвания» — чудовище с тремя двадцатистажными башнями, окруженное галле-реей магазинов — проглотило его. Он прошел колоннаду главного входа и очутился в «майн-руме»— огромной приемной отеля.

«Пенсильвания» насчитывает две тысячи двести номеров. Армия постояльцев и их посетителей, батальоны прислуго шныряют целый день по лестницам, коридорам и залам отеля. Гул голосов не умолкает день и ночь в майн-руме.

Сопровождаемый подбежавшим боем товарищ Савичев подошел к стойке, где за бесчисленными перегородками у строгих конторок стучали на пишущих машинах кукольные барышни. Прилизанный клерк задал ему вежливый вопрос и быстро продиктовал своей машинистке его фамилию и номер его новой комнаты. Копия этого печатного листка молниеносно была передана в «картонку комнат», а оригинал — в «почтовую картотеку».

Получив ключ от номера, товарищ Савичев перешел на попечение к бою, у которого на рукаве был вышит трехцветный флагок бывшей Российской империи. Это должно было соответствовать национальности приезжего (бой прекрасно владел русским языком), но мало соответствовало действительности.

Савичев усмехнулся. Не потребовать же ему боя с красным флагом. Пусть их, американцы, забавляются.

В коридоре у двери своего номера товарищ Савичев быстро пробежал глазами инструкции служебному персоналу отеля, подписанные заведующим, мистером Статлером. Основной принцип, преподаваемый великим мистером Статлером служащим, был принцип незаметного обслуживания. Впоследствии Савичев убедился в точном выполнении этого принципа.

Номер убирался утром во время завтрака, до возвращения из ленч-рума — отельного ресторана. В стене номера был чудесный шкаф, имеющий соединение с коридором. В этот шкаф можно было положить белье, вложенное в бумажный пакет, заполнив бланк числом, к которому оно должно быть выстирано, и точно к сроку выстиранное белье обнаруживалось в шкафу. То же можно было сделать с обувью, требующей починки, и с платьем, нуждающимся в утюжке. Слугу не надо было расспрашивать о телефонных вызовах, на столе автоматическая телефонограмма рассказывала то, что мог перевратить утомленный запутавшийся слуга. Тут же рядом, на столе каждый день появлялся свежий номер газеты, издаваемой отелем. В газете список новых постояльцев, интервью с постояльцами-знаменитостями, биржевые курсы.

Товарищ Савичев прошелся по комнатам (номер состоял из двух комнат), обставленным подчеркнуто практично и просто. Он на секунду задержался у телефонного столика, где рядом с главной телефонной книгой и систематическим указателем номеров торжественно возлежала библия.

— М-да, — сказал товарищ Савичев и развязал галстук.

* * *

Мистер Нельсон нисколько не походил на своего исторического однофамильца — английского адмирала Нельсона. Об одноруком адмирале, побеждавшем Наполеона, он вообще не имел никакого понятия. Адмирал был суров, простодушен и худ. Лесопромышленник слыл добряком, но хитрецом — и был толст.

После ванны и недолгого туалета мистер Нельсон — лесопромышленник вел конфиденциальную беседу с мистером Холлом. О конфиденциальности беседы свидетельствовали глухо прикрытые двери номера и таинственный шёпот разговаривающих мистеров.

Если стать в нескольких шагах от компанийонов, то можно услышать только три, повторяемых несколько громче остальных слова:

- Невозможно!
- Советский лес!..

И так в течение добрых десяти минут: «Советский лес», «Невозможно!», «Советский лес», «Невозможно!»

Наконец мистер Нельсон бросил взгляд на браслетку часов и сказал уже обычным тоном:

- Вы условились к обеду?
- Холл тоже посмотрел на часы и встал:
- Да, старина, и уже время.
- Вы уверены, что они будут?

Холл вспыхнул:

— Вы начинаете мне действовать на нервы, старик. Я, кажется, говорю достаточно ясно: будут к обеду, будут, подчеркиваю, Фиш и Эдкерсон.

Нельсон понял это так, как и следовало это понять. Слово «Фиш» означало для него не традиционную фаршированную рыбу по-еврейски, а фамилию сенатора и коммерсанта мистера Фиш, с которым он был хорошо знаком. Так же хорошо он знал и второго

приглашенного к обеду — Карлсона Эдкерсона, председателя ассоциации американских марганцевых промышленников.

Успокаивающе похлопав по плечу мистера Холла, мистер Нельсон вышел с ним из номера.

* * *

Товарищ Савичев тоже принял ванну и переоделся. Собеседников у него не было, и он по привычке мыслил вслух. Говорил он — вернее напевал — отрывистые фразы, понятные только одному ему:

— Культура, комфорт, доллары и библия! Незаметно обслуживать! Незаметно обслуживать! О великий Огатлер! Великий, великий, величайший осел! Восхищает, Вася? Нет, нет и еще раз нет! Коммунисты, учитесь торговать! Учимся, понемногу учимся! Ничего не попишешь!

Товарищ Савичев подошел к телефонному столику, юмористически покосился на библию и двумя пальцами, как за ухо непослушного ребенка, взял телефонную трубку. Он соединился с правлением Амторга.

Разговор был кратким:

САВИЧЕВ. Привет. Да, сегодня утром. Из Шербурга.

АМТОРГ. Привет, товарищ Савичев. Вас не встречали потому, что были заняты маленькими неприятностями. Ерунда, янки валяют дурака. Новая история с новыми фальшивками... Уолен старается... Сегодня отдохните... завтра увидимся. Привет!

САВИЧЕВ. Привет, — вешает трубку.

* * *



Беседовали джентльмены на безразличные темы, как и
полагается джентльменам во время обеда

В ленч-руме, обеденном зале отеля, где тремя большими четырёхугольниками на маленьких вращающихся скамеечках восседают мистеры и мисс, а внутри четыре-угольников шныряют пятьдесят девушки, одетых в стандартное белое платье, со сложной архитектурой блюд и бокалов в руках, где из кранов и кипятильников выпускают непрерывные струи напитков, где бригады поваров извлекают из электрических плит заказанные блюда, встретились к назначенному времени мистеры — Нельсон, Холл, Фиш и Карлсен Эдкерсон.

Беседовали джентльмены на безразличные темы, как и полагается джентльменам во время обеда.

Товарищ Савичев, вдоволь насмотревшись на жизнь отеля, напоминающую жизнь целого города, на биржевую контору, телеграфное агентство, всевозможные магазины, туристское агентство, грандиозную парикмахерскую, где заодно клиентам чистили сапоги, делали маникюр и прочее, — пересек гриль-рум — зал танцев и послеобеденного, отдыха и устроился с возможным комфортом в ленч-руме, в недалеком соседстве от мистера Нельсона и К°

* * *

Третий человек, так и названный третьим в заголовке этой главы, провел этот день с меньшими удобствами.

Томас Карриган (так звали третьего человека), бывший тайный агент нью-йоркской полиции, всю первую половину дня провел в шумной суполоке майн-рума, в ожидании добычи. Прилизанный клерк, регистрировавший товарища Савичева, кивком головы подозвал к себе Карригана. Он сообщил ему топотом о прибытии советского гражданина, и Карриган

терпеливо ждал его выхода. Он не знал в лицо товарища Савичева, и клерк пообещал ему его показать.

Уже давно мистеры Нельсон, Холл, Фиш и Эдкерсон проследовали через мейн-рум к выходу и, усевшись в поджидавший авто, укатили, а русский все еще не показывался.

Терпение полицейского агента неистощимо, как Атлантический океан, как подлость иезуита. Томас Карриган провел бы в терпеливом ожидании и вторую половину дня, если бы прилизанный клерк не сделал ему знак глазами в сторону проходившего товарища Савичева.

С этой минуты русский был взят под наблюдение, и за ним неотступно следовала тень.

Товарищ Савичев решил использовать свободную половину дня, сделав экскурсию по незнакомому ему Нью-Йорку. Этим была оправдана кривая его пути. Си использовал для этой цели все виды транспорта, существующие в Нью-Йорке. С трамвая пересаживался на автобус, с автобуса — на легковой автомобиль. Ездил подземной дорогой, ездил надземной. Карриган



Клерк указал сыщику на проходившего мимо

воспринимал это невинное занятие как хитрое заметание следов. Тень не отставала.

Савичев воспринимал краски, технические усовершенствования, организацию транспорта, архитектуру домов. Карригана он не замечал.

Трамваи были зеленые, красные и синие. В автобусах опускали десятицентовые монеты в кружки, подставляемые кондукторами. Савичев прислушивался к мелодическому звуку кружек, механически регистрирующих получение денег. Контроля и билетов нигде не было. Двери закрывались кондукторами посредством целой системы рычагов; таким образом пассажиры были лишены самовольного права входа и выхода.

Существование «зайцев» было невозможно. На подземной дороге входы на платформы заграждены барьерами, отодвигающимися лишь после того, как в автомат опускают монету.

Савичев побывал на Пятой авеню — знаменитой улице банкиров, побывал на Уолл-стрите, где помещается биржа, и подземной дорогой проехал в Бруклин.

Он увидел улицы небоскребов и на ряду с ними кривые улички с низкими домиками.

На главных улицах двигались стада автомобилей, на узких боковых надземка была воздвигнута так бесцеремонно, что из некоторых домов можно было коснуться столбов руками, высунувшись из окна.

В Бруклине тень Савичева пришла в замешательство.

Карриган увидел высокого человека с усталым лицом, который был для него не менее аппетитен, чем Савичев.

Это был Джим Херф — активнейший работник коммунистической партии Америки.



Он увидел улицы небоскребов и на ряду с ними кривые улички с низкими домиками

Пока Карриган размышлял, за кем ему последовать, товарищ Савичев уехал на автобусе.

Издав проклятье, Карриган последовал за Херфом.

II. Маленькая красная книжка

Собственно говоря, дело не в книжке, какого бы цвета она ни была — красного, желтого или черного. Книжки бывают разные. Нет, дело не в книжке. Хотя книжка и была — маленькая красная книжка — в боковом кармане пиджака Джима Херфа — членская карточка коммунистической партии Америки.

При желании здесь можно наворотить много блещущих пафосом фраз.

Сердце Херфа горело и билось рядом с маленькой красной книжкой.

Херф носил маленькую красную книжку в себе, и была она огромной программой великой борьбы угнетенных.

Можно еще рассказать о полицейских обысках, во время которых отбирали эту книжку и били Херфа резиновыми дубинками по голове.

Можно.

Но дело не в этом.

Дело гораздо сложнее и... проще.

Простота и сложность — это настоящее определение сути дела.

Были серые, трудные непрестанные будни и ненависть.

Ненависть была рождена желудками. Четырьмя человеческими желудками.

Ненависть пришла тягучая и образная, как кошмар.

Мать, сестра, брат, кормилец Джим Херф и безработица.

Мать, сестра, брат и непостоянная работа с ничтожным заработка.

Ведь это же не фикция, ведь существует огромный прекрасный мир — моря, страны, свободный любимый труд, наука?

Кто выдумал книги?

Кто пишет их? Вероятно, негодяи.

Книги о прекрасном мире и — желудки!

И — серые неумолимые будни!

Четыре обыкновенных человеческих желудка, как семь библейских коров, пожирали мир и оставались тощими.

Четыре обыкновенных человеческих желудка пожрали огромный прекрасный мир — моря, страны, свободный любимый труд, науку. Пожрали без остатка и остались тощими. Мир отступил от Херфа, остались будни, безработица, непостоянная работа и четыре обыкновенных человеческих желудка.

Желудки были страшными машинами, огненными печами, отвратительными жертвенниками, на алтари которых был принесен мир. Желудки были кровожадными, непреклонными диктаторами.

Кто выдумал книги о прекрасном мире? Книги принесли ненависть.

У Херфа было здоровое, сильное тело, и ненависть должна была быть сокрушающей и испепеляющей, как динамит, как молния.

Он хотел такой ненависти, мгновенной, убивающей. Она кипела в нем, испепеляла его. Он сжимал свои огромные руки, чувствовал в них исполинскую силу. Казалось, что может собрать в одну медовую, страшную хватку всех угнетателей и задушить их. Но понимал, что задушить может только одного жирного полицейского, и это ничего не даст, кроме электрического стула.

Ненависть испепеляла его. Непреодолимая, страшная ненависть. Жажда мгновенной убивающей ненависти. Но предстояли серые, трудные, непрестанные будни борьбы.

Это было непреложно, и он понял это...

Ненависть зажгла разум. Казалось ему, что стоит только стать на площади и крикнуть, и сами собой полыются слова, расплавленная пылающая сталь слов, зовущая на борьбу. И миллионы сильных, жилистых рук охватят жирные шеи угнетателей.

Но были у людей пугливые, заячье уши. Но были у людей уши, заросшие волосами, и бессильны были испепеляющие слова, и криком на площади можно было добиться только каталажки.

Предстояли серые, трудные, непрестанные будни борьбы. Это было непреложно, и Херф понял это.

Тогда появилась маленькая красная книжка в боковом кармане пиджака Джима Херфа — членская карточка коммунистической партии Америки. Тогда появились будни борьбы, медленные и упорные.

Дома все то же. Три маленьких клетушки, три фанерных стены, перегородившие одну комнату. Страдальческое, покорное лицо матери. Чахоточная сестра, убивающая себя работой на табачной фабрике (наконец-то нашла работу). Меньшой брат, склонный к изобретательству и технике, собирающий на автомобильном кладбище негодные части. Мать называла его будущим Фордом. Он составлял немыслимые мотоциклеты и с грехом пополам продавал их сынкам мелочных лавочников.

Дома все то же. Страдальческое выражение на лице матери теперь стало постоянным: Джим Херф «свихнулся», часто сидит в тюрьме, после чего его нигде не принимают на работу.

Но Херф не сдается.

Через три месяца должна во что бы то ни стало состояться первоавгустовская антивоенная демонстрация, и Херф уже теперь облезжает революционные профсоюзы: моряков, пищевиков, текстильей, швейников, обувников, негритянских рабочих.

Херф идет в ЦК компартии с поручением от Джонстона, представителя революционной лиги профсоюзного единства.

От Джонстона к Гайсуэду — представителю американского конгресса трудящихся негров.

Сегодня кампания защиты СССР. Завтра — против Метью-Уолла, фашистского профбюрократа.

Нужно отнести передачу руководящим работникам компартии: Фостеру, Майнору, Амтеру и Реймонду, томящимся в тюрьме, и Херф относит ее.

Так идут будни борьбы.

Часто думает Херф о стране, занимающей шестую часть мира, о стране, где рабочие уже взяли власть в руки. До сих пор никак не удалось ему поехать в СССР. Нужен был работе, всего себя отдавал, и другие товарищи входили в состав делегаций, ездивших в Советский Союз. Возвращались, рассказывали о трудностях строительства социализма в одной стране. О гигантской работе проделанной революцией, о невиданных формах новою строящегося мира. Говорили и о недостатках, о лишениях, но все это затемнялось, отходило на задний план по сравнению с необычайным, потрясающим энтузиазмом рабочего класса, по сравнению с невиданным размахом грандиозного социалистического строительства.

И верил, и знал Джим Херф: будет так в Америке.

Работал для этого. Жил.

* * *

Тень товарища Савичева неустанно преследовала Джима Херфа.

Тень размышляла:

«Ты дурак, Томас Карриган! Жалкий идиот! Хвастун! Фантазер! Старые, скромные, испытанные методы сыскной работы ты заменил палкой о двух концах — провокацией. Ты идешь по стопам шефа Уолена, потерявшего из-за неудачных фальшивок пост начальника нью-йоркской полиции. Тебя выгнали вместе с Уолшем, Карриган. Но Уолен устроился управляющим универсального магазина «Базар дешевых вещей», а ты у него на побегушках, в ожидании места заведующего отделом в том же универсальном — магазине. Он использует тебя в прежней твоей роли шпика, но ты ничего не можешь придумать интересного. Побольше фантазии, старый бездарный шпик! Побольше фантазии, старик».

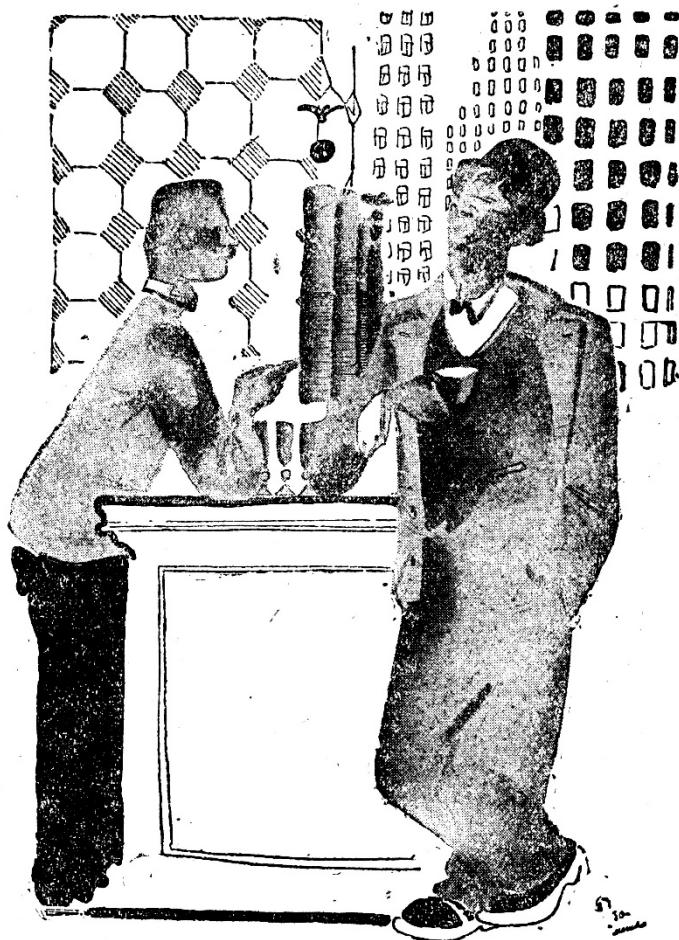
Карриган шагал вслед за Херфом до его квартиры. Когда Херф вошел в дом, шпик поплелся в кафе напротив, где можно было вопреки «сухому закону», перехватить пару рюмок.

Потягивая ром из маленькой кофейной чашечки (ром подавался в кофейнике), Карриган разговорился с хозяином кафе, маленьким щуплым французом Конолем.

Уже не в первый раз бывал здесь Карриган, следя за Херфом, не один час провел он в этом кафе, высматривая выход Херфа из широкого окна, и пристрастился к тихому кафе, к разговорам с Конолем, к его крепкому ямайскому рому.

У Коноля была слабость к афоризмам. Карриган их часто изрекал. За это качество щуплый француз симпатизировал шпику.

Кафе было пусто. Карриган уселся за столиком у окна и, поздоровавшись с хозяином, как всегда, изрек:



Потягивая ром из кофейной чашечки, Кардиган разговорился с хозяином кафе

— Мне нужна ваша поддержка, мистер Коноль; ваш
чудесный ямайский ром. Глупцы называют вас кабатчиком, я
называю вас повелителем грез. Суть в разнице мировоззрений.

И, как всегда, щуплый француз вздохнул:

— Ах, мистер Карриган, вы чрезвычайно умный человек, вам не хватает только учености для того, чтобы стать мудрецом.

И, как всегда, Карриган криво усмехнулся:

— К чему это, Коноль? В наш век, в обществе преступном насказье, только четыре категории людей суть власть имущие. Это капиталисты, — раз, — Карриган стал загибать пальцы, — политики, продажные, как женщины, — два, женщины, продажные, как политики, — три и наконец полицейские, продажные еще более, чем все перечисленные, — четыре. Таким образом я принадлежу к одной из категорий могущественных.

Коноль вздохнул, сочувственно и умиротворенно.

— Были вы когда-нибудь счастливы, мистер Карриган? — спросил он, сощурив близорукие глаза.

Карриган нахмурился.

— Был, мистер Коноль... всего лишь одну неделю на протяжении всех сорока прожитых мною лет. Привалило немного денег, я был тогда в Калифорнии, отдыхал. Вы знаете, чем я там занимался? Вы не догадаетесь. Не поверите, что такая слабость может быть у полицейского. Впрочем, об одной слабости вы уже знаете: я пью у вас запрещенные напитки и не доношу... Да, так вот. Тогда, в Калифорнии, я ловил бабочек. Обыкновенной детской сеткой на палке. Знаете ли вы, что значит не иметь детства, Коноль? Вечно копошиться в грязи, ни одной чистой минуты, ни минуты отдыха, слияния с природой. Эта неделя — единственная счастливая в моей жизни. В раннем возрасте пробирки отца-провизора, наполненные человеческой гадостью. Позднее работа сыщика, возня с человеческой гадостью в квадрате. Можете ли вы это понять, Коноль? Человек, не имевший детства, я ловил бабочек, пестрых, легокрылых... я, большой, грузный циничный человек, был счастлив...

Карриган хмелел и готов был прослезиться. Коноль вздыхал.

Синий вечер прижимался к широкому окну кафе.

* * *

Джим Херф пришел домой вдребезги разбитый усталостью. Он с трудом разделся и, свалившись на постель, забылся тяжелым сном.

Тихо, тихо, даже задерживая дыхание, чтобы не разбудить спавшего сына, вошла мистрис Херф. Собирая на стул свалившееся на пол платье Джима, она обнаружила на рукаве пиджака дырку. Так же тихо, как вошла, мистрис Херф достала иголку с ниткой и села зашивать рукав. Во время шитья из бокового кармана пиджака вывалилась пачка бумаг. Мистрис Херф увидела среди них маленьющую красную книжку. Вспыхнула острая старушечья злость. Мать порвала книжку на мелкие клочки, тряся седыми космами волос. Делала это с азартом, с упоением, словно могла спасти этим сына от грядущих арестов, удержать его от революционной работы.

Об этом трогательном эпизоде можно написать прошибающее слезой стихотворение.

Впрочем, это уже из области лирики. Дело не в маме и не в маленькой красной книжке.

III. Но это жизнь

Гремит буря века.

Бешено вертится центрифуга событий, в свистящем вихре своем отсеивая больше и малые дела людей.

Стучат телеграфные аппараты.

Дрожат в могучем напряжении работы ротационные машины.

Газеты, газеты, газеты. Утренние, дневные, вечерние — миллионы фолиантов истории.

Факты ложные, факты настоящие. Ложным верится легче, чем настоящим. «Нет ничего фантастичнее действительности».

Факты — действительность, но проверишь — и не верится. Кажется, что факты не факты, а детективная фильма, репортерская утка, вымысел, бред. Но это жизнь!

Итак, телеграфные аппараты. Что говорят они, кто направляет по ним мысль?

Вот стандартный телеграфный аппарат в стандартном кабинете нью-йоркского дельца.

Кто он, этот человек дрожащими руками обрывающий телеграфную ленту?

Чем вы взволнованы, мистер Фиш?

Что рассказал вам телеграфный аппарат?

Кто направляет по нем взволновавшую вас мысль?

Кто владеет аппаратом и вашей душой, мистер Фиш?

Уолл-стрит владеет. Уолл-стрит — сердце Нью-Йорка; душа Нью-Йорка — биржа та Уолл-стрите.

Послушаем, что говорит Уолл-стрит.

— Резкое падение курса важнейших бумаг от двух до пяти пунктов. Акции сталелитейной компании «Юнайтед-Стэйтс-стайл», железнодорожной компании «Нью-Йорк Централь Рейлрод» и американской телефонной и телеграфной компаний упали на три пункта. Акции электрических предприятий Вестингауза упали на пять пунктов.

Не у вас только дрожат руки, принимающие телеграфную ленту, мистер Фиш. Руки дрожат у тысяч мистеров.

Вы взволнованы, мистер Фиш. Вы сопоставляете сообщения биржи с сообщениями статистического бюро «Стандарт».

— Индекс за июль на 20 % ниже индекса июня прошлого года. Промышленная продукция за первую половину текущего года на 15 % ниже продукции первой половины прошлого года. Производство автомобильной промышленности упало на 34 %, продукция сталелитейной промышленности на 18 % и продукция железнодорожной промышленности на 14½%.

Цифры, цифры, цифры. Неумолимые цифры. Они повергают вас в мрачнее раздумье, мистер Фиш.

Месяц прошел со времени обеда в отеле «Пенсильвания», за которым вы встретились с Нельсоном, Холлом и Эдкерсоном. После обеда вы укатили на авто к Метью-Уоллу, где вас четверых уже дожидался бедняга Уолен. О чем совещались вы шестеро в тот день? Что связало вас в тот день для борьбы с СССР, ведущей крупную торговлю с Соединенными Штатами? Общие интересы... отечественной промышленности? Маленькая пауза, разделяющая эти четыре слова — и все в порядке. Не правда ли, мистер Фиш? Маленькая пауза, и смысл ясен.

За что вы шестеро ратовали в тот день, мистер Фиш?

Нельсон и Холл ратовали за американский строительный лес из штатов Миссисипи и Мен, которым они торгуют и с которым конкурирует советский строительный лес.

Карлсон Эдкерсон, председатель ассоциации американских марганцевых промышленников, жаловался на растущий импорт советского марганца, подрывающий американскую марганцевую промышленность.

Эдкерсон жаловался, вы все возмущались. Вы возмущались, зная, что Эдкерсон заведомо лгал. Вы знали из официальных статистических данных, что в 1928 году в САСШ было добыто 30 000 тонн марганца, а в 1929 — году 46 тысяч тонн. Американская же стальная промышленность потребляет в год свыше 80 тысяч тонн марганца. Вы возмущались не заведомой ложью Эдкерсона,

а от сочувствия к его лжи. Какой парадокс! Но ведь вас связывали общие интересы... отечественной промышленности Маленькая пауза, разделяющая эти четыре слова — и смысл ясен.

Жаловались и вы, мистер Фиш, и Метью-Уолл, председатель американской федерации труда, и Уолен, бывший начальник нью-йоркской полиции, уволенный за неудачные антисоветские фальшивки. Грязные коммерсанты и политики, точащие зубы на СССР! Вас связывали общие интересы... отечественной промышленности. В тот день вы, мистер Фиш, брались провести на конгрессе проект об основании комиссии расследования деятельности коммунистов в Америке.

Уолен, мастер неудачных фальшивок, торжественно поклялся в тот день, что на этот раз сфабрикует безукоризненный материал.

Метью-Уолл обещал поднять кампанию в прессе.

Прошел месяц. Конгресс утвердил комиссию под вашим председательством, мистер Фиш. Конгресс утвердил членами комиссии Нельсона, Холла и еще двух таких же почтенных коммерсантов.

Уолен сдержал торжественную клятву, данную в тот день. Он привлек к работе комиссии русского монархиста Джамгарова и белогвардейца с приятной фамилией — Язва. В нью-йоркской типографии Макса Ватера были отпечатаны антисоветские фальшивки. И практично, и дешево, и незачем ехать в СССР. Уолен благословил бывшего полицейского агента Карригана за доставку в комиссию сведений о встрече представителя Амторга Савичева в Бруклине в первый же день его приезда в Америку с американским коммунистом Джимом Херфором, которому он якобы передал какой-то пакет. Этого было достаточно для обвинения Амторга в коммунистической пропаганде под руководством Коминтерна. Правление Амторга было затребовано к вашему следовательскому столу, мистер Фиш.

Вы подвергли идиотскому допросу представителей страны, занимающей шестую часть мира.

Кажется, что это репортерская утка, досужий вымысел, бред. Но это — жизнь!

* * *

Итак — газеты. Они заполняют жизнь современного человека.

Взгляните сюда — прокурор Соединенных Штатов Чарльз Тэттель просматривает утренние газеты. Он хмурит суровые брови, запечатленные тысячами фотографий; красным карандашом подчеркивает он статьи, резко критикующие комиссию Фиша и обличающие фальшивки Уолена. Заметку о посланном в комиссию Фиша протесте ЦК компартии, в котором вскрывалась сущность кампании против СССР, он вырезал и вклеил в особый альбом. Еще раз внимательно перечитал ее:

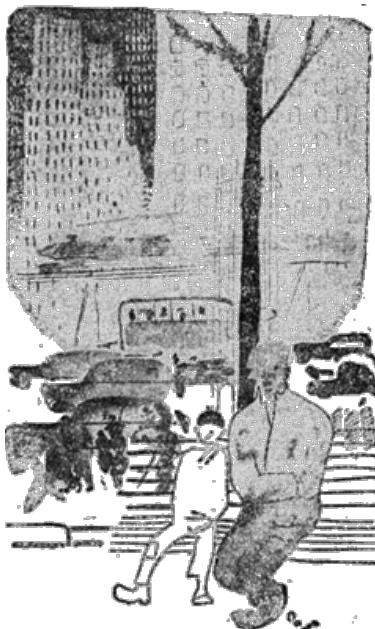
«В САСШ 8 миллионов безработных.

Рабочие вместо страхования от безработицы избиваются полицией, на помощь которой пришла комиссия Фиша, подготовляющая новые законы для преследования и высылки революционных рабочих. Вы желаете поставить вне закона компартию и другие революционные пролетарские организации за то, что они указывают рабочим путь борьбы против безработицы, за социальное страхование, против сокращения зарплаты и против империалистической войны, которую капиталисты лихорадочно готовят. Ваша деятельность является частью всеобщей капиталистической атаки против рабочего класса. В работах вашей комиссии участвуют единым фронтом все враги рабочего класса, начиная от агентов папы римского, вице-председателя американской федерации труда Метью-Уолла и кончая русскими монархистами. Почему вы так взбешены существованием СССР? Потому, что эта страна является живым примером, показывающим

рабочим всего мира, что капитализм является преступной, идиотской системой, в которой нет никакой необходимости. В СССР продукция в этом году возросла на 30 %, в то время как в САСШ она уменьшилась на 20 %. В СССР безработица сократилась на 40 %, а в САСШ она увеличилась на 200 %. Крестьяне СССР быстро переходят к крупным обобществленным и машинизированным колхозным хозяйствам, освобождаясь тем самым от вековой нищеты. В это же время миллионы фермеров САСШ разоряются в результате аграрного кризиса. Вы боитесь не московских заговоров, которых не существует, а лишь самого факта существования советской власти, ибо это воодушевляет рабочих всех стран».

Прокурор склонил голову на руку (поза, запечатленная миллионами фотографий) и задумался.

Двенадцать лет назад разорился его отец. Биржевой игрок и спекулянт Джушуа Тэттель в большом количестве скупил русские царские займы и займы правительства Керенского. Октябрьская революция аннулировала их. Чарльз в то время беззаботно относился к занятиям в колледже, (проча для себя будущность беззаботного рантье. Но застрелился отец, и Чарльзу пришлось серьезно взяться за образование. Он кончил университет и пошел по судебной части.



В САСШ миллионы безработных

Будучи тщеславным, он вскоре усвоил все те приемы, которыми достигается слава в Америке. Его выступления в суде собирали тысячи зрителей. Именно зрителей. Потому что Чарльз Тэттель, молодой прокурор, бесподобно играл, не прокурорствовал, а играл. Его фотографии расходились в миллионах тиража. Истеричные мисс аплодировали ему как знаменитому тенору. Он объявил себя беспощадным врагом коммунистов, ярым антисоветским деятелем. Аннулированные русские займы заложили для этого прочный фундамент.

Вчера «справедливый, как Немезида» (так о нем писали в репортажных отчетах) прокурор совещался с Уоленом, Джамгаровым и Язвой. Совещание было вызвано неожиданной неприятностью: Фиш принужден был официально признать несостоительность фальшивок Уолена. Но Уолен не унывал и предложил новую комбинацию. Провокаторы Крейц и Шафран должны были быть арестованы как контрабандисты, провозяющие в Америку швейцарские часовые механизмы. Предполагалось их сделать агентами Амторга. Уолен торжественно выложил на стол новые шедевры — ленту с белым значком и удостоверение на английском языке со следующим текстом: «Предъявитель этого значка является заслуживающим доверия служой Советов, которому можно поручить любое дело. Секретариат».

Джамгаров и Язва, бывшие русские офицеры бывшей царской армии, потупили глаза. Они следовали правилу, что талантливые авторы должны быть скромными.

«Справедливый, как Немезида», прокурор Соединенных Штатов дал согласие на участие, в этой авантюре.

Кажется, что это детективный фильм, вымысел, бред. Но это — жизнь!

Нью-йоркский корреспондент «Дейли Телеграф» порадовал читателей сенсационным сообщением:

«Альфонс Капонэ, известный под прозвищами «Рубчатый» и «Император бандитов» — глава могущее шайкой чикагской шайки — и Джордж Моран, прозванный «Сумасшедшим», — глава другой чикагской шайки — подписали мирный договор и соглашение о сокращении вооружений. Контрабандисты спиртных напитков, налетчики и шантажисты, столкновения которых разрешались нередко пулеметными перестрелками, они наконец поделили Чикаго на сферы влияния: западная часть и деловой район предстаются Капонэ, северная часть — Морану. Каждая из договаривающихся сторон обязалась сохранить лишь минимальное количество вооружений для самообороны».

Далее корреспондент приводил цифры миллионных доходов двух бандитских шаек и трагически вопрошал: «Когда же их существованию будет положен конец??

Газеты и жизнь переплетаются в тесных объятиях. Газеты — миллионы страниц фолиантов истории...

Эта корреспонденция была чрезвычайно интересной для читателей «Дейли Телеграф», но двое бандитов — капонист и моранист — не подчинились мирному договору, официально приведенному в прессе. Будучи в Нью-Йорке «по делам», бандиты встретились ночью в Бруклине, где и свели счеты старинной вражды. Бандита из шайки Морана застрелил бандит из шайки Капонэ. Он расстрелял в противника всю обойму автоматического револьвера и бежал,бросив оружие при неожиданном появлении Джима Херфа (битва происходила возле его дома) и следящего за ним Карригана.

Херф возвращался с партийного собрания с неотступной своей тенью. Карриган арестовал Херфа и заявил, что был свидетелем убийства и ограбления Херфором неизвестного гражданина.

Дело это в срочном порядке пошло в суд. Прокурором назначен был Чарльз Тэттль.

Кажется, что это репортерская утка, детективная фильма, вымысел, бред. Но это — жизнь!

* * *

Гремит буря века. Бешено вертится центрифуга событий, отсеивая в свистящем вихре своем большие и малые дела людей.

Случилось так — центр тяжести огромной политической борьбы был перенесен на одного человека. Джим Херф должен был расплачиваться за промышленный кризис, за безработицу, за бесконечные забастовки. Джим Херф должен был быть казнен.

Фашистские газеты расклевывали его, еще живого, по кусочкам. Компартия и профсоюзные организации вели неутомимую борьбу за его освобождение. Но судьба Херфа была решена еще до суда.

Процесс собрал огромное количество публики. Впрочем, на процессе была не только публика. Были рабочие.

Публика аплодировала беспощадному прокурору Чарльзу Тэттлю. Рабочие свистали. Судья звонил в колокольчик, грозил очистить зал от публики, вернее — от рабочих, беспрестанно лишал слога молодого адвоката-коммуниста Роджера Рэн, Томас Кариган выступил на процессе свидетелем. Он спокойно и подробно рассказал о том, как Джим Херф хладнокровно расстрелял всю обойму и ограбил убитого. По его словам, выходило так, что он случайно проходил мимо и не успел предотвратить убийства. То, что Кариган — бывший полицейский агент, на суде упомянуто не было. И за то, что он задержал Херфа, угрожая ему револьвером, за незаконное

ношение оружия, несмотря на свой «героический» поступок, Карриган был приговорен к шести месяцам лишения свободы.

Джим Херф был приговорен к смерти.

Кажется, что это плод чудовищной фантазии, что это вымысел, бред. Но это — жизнь!

IV. Два бритья и один адвокат

Это была гостиница среднего пошиба. Номера в ней не отличались просторностью и убранством, прислуга не славилась расторопностью и предупредительностью.

Уже добрых два часа храпел безмятежно коридорный. Короткий, жалобно оборвавшийся звонок не произвел на него никакого впечатления. Тогда язычок звонка забился частой истерической дрожью. Коридорный не спеша приподнялся, бросил томный, разомлевший взгляд на указатель и медленными, шаркающими шагами поплелся к тридцать четвертому номеру.

По номеру метался низкорослый, но крепко сбитый мужчина, с наполовину намыленным, наполовину выбритым лицом и бритвой в руке, яростными пинками кош опрокидывая обитую красным плюшем мягкую мебель. На шее человека, как видно сильно порезанный, висели клочья окровавленной мыльной пены.

Коридорный испуганно попятился к двери. Но недобрый человек удержал его за руку и, размахивая бритвой, захрипел:

— Счет! Подать сюда немедленно счет! Ни одной минуты не остаюсь здесь! Что за проклятый номер! Везде кровь... все красное... мебель красная, одеяло красное... — он яростно сорвал с постели и швырнул на пол одеяло. — Кровь, кровь, я тону в ней, она заливает мне глаза...

Насмерть перепуганный коридорный оцепенел. Он решил, что перед ним сумасшедший, который его сейчас зарежет. Но постоялец внезапно улыбнулся.

— Я пошутил, — сказал он после минутного молчания. — Я актер. Скоро мне придется выступать в роли сумасшедшего, и я хотел посмотреть, какое впечатление производит моя игра. Вот вам за беспокойство... — он протянул коридорному смятую кредитку. — Можете идти, я сам приведу все в порядок...

Когда коридорный вышел, постоялец тщательно запер за ним дверь. Шагая по номеру, он заговорил сам с собой:

— Это конец. Я оказался нервной бабой... Херф чувствует себя сейчас лучше, чем я... Так тебе и надо, Томас Карриган!.. Ты болван. Томас Карриган... малодушный провокатор! Ха-ха-ха!..

Язвительный хохот Карригана грозил перейти в истерику. Но внезапно он перестал смеяться. Расширенными от ужаса зрачками уставился он в одну точку.

Это был самый обыкновенный вентилятор, почти под самым потолком, прикрытый прочной стальной решеткой.

Карриган опустился на пол и, обхватив руками колени, заплакал.

* * *

Мыльная пена снежными хлопьями облепила обрюзглое лицо. Парикмахер орудовал кистью, как художник. Ловкими короткими мазками проходил он по лицу, словно поправлял уже написанный портрет.

Возле парикмахера стоял слуга в ливрее. В руке у слуги была раскуренная сигара. Время от времени он приставлял сигару, как соску, к толстым губам человека с намыленным лицом.

Немного поодаль от этой группы за письменным столом, склонившись над грудой бумаг, сидел рыжий молодой человек.

Парикмахер отложил кисть и взялся за бритву. Направив ее, он классическим жестом начал процедуру бритья.

На столе, за которым сидел рыжий молодой человек, зазвонил телефон. Молодой человек поднял трубку.

— Алло! — сказал он, и лицо его приняло озабоченное выражение.

Обрюзглые, намыленные щеки толстогубого человека первически задергались.

— Пошлите их к чертям, — рявкнул он. — Кто в такую рань голову морочит?!

Молодой человек вжал голову в плечи:

— Говорят из главного полицейского управления, — у молодого человека был вид побитой собаки.

— Дайте трубку!

Молодой человек подал трубку, едва не сбросив со стола аппарат. Толстые, выпяченные губы, обрамленные мыльной пеной, зашевелились в грозном рыке:

— Да!.. да!.. Раджа? Какого чёрта раджа? Гостиница «Раджа»? Говорите яснее! Да! Томас Карриган... Чёрта он вам сдался?.. Свидетелем на процессе?.. Ага! Да! На брюкодержателях? Какого чёрта?! Что мелете?! Какое мне дело до ваших брюкодержателей?! Повесился?! Повесился на брюкодержателях?! Вчера ночью в номере гостиницы «Раджа»?.. Болваны!! Идиоты!!! Вам место на конюшне, а не на государственной службе! Я вам покажу брюкодержатели! Засиделись?! Зарубите себе на носу: сведения об этом в печать пройти не должны!

Молодой человек на лету подхватил яростно брошенную трубку.

Потянулись тягостные минуты. Парикимахер, слуга и секретарь старались исполнять свое дело без малейшего шума, боялись обратить на себя внимание своею разгневанного господина. Имя этого человека (он был губернатором штата) заставляло трепетать не одно сердце. Баснословный дурак, он, однако, сумел себя поставить, неограниченной грубостью доводя подчинённых ему людей до отупения. С какой бы ясностью ему ни излагали дело, он всегда притворялся непонимающим, ставя этим собеседников в непроходимо глупое положение. Любимыми его словечками были: «Какого чёрта?!», «Говорите яснее!», «Засиделись!» и тому подобное.

Процедура бритья продолжалась в тишине, нарушающей сердитым сопением.

На столе опять зазвонил телефон. С тоской поглядев на аппарат, рыжий молодой человек взялся за трубку с безнадежной покорностью.

— Сэр, — сказал он через минуту, сдерживая дрожь в голосе. — Начальник тюрьмы сообщает, что осужденный Херф окончательно изнурен голодовкой... Возможен смертельный исход...

На этот раз губернатор сам подошел к телефону. Толстые губы его брызгали яростной слюной:

— Что?! Смертельный исход?! Я вам покажу смертельный исход!! Засиделись?! Говорите яснее! Изнурен голодовкой?! Какого черта смотрите??!! Вернуть к жизни во что бы то ни стало!..

* * *

Знаменитый адвокат, мистер Бредсли, взял с подноса у слуги визитную карточку первого утреннего посетителя. На карточке значилось: Гильберт К. Чаней. Фамилия эта ничего не говорила

мистеру Бредсли, и он с деловым видом углубился в бумаги, что всегда делал, когда принимал незначительного посетителя. Это должно было, по его мнению, значить, что он чрезмерно занят человек и тревожить его по пустякам не годится.

Грузные шаги посетителя пересекли кабинет и остановились почти у самого стола, за которым сидел мистер Бредсли. Адвокат, не поднимая головы от бумаг, чувствовал, что его пристально разглядывают. Прошло несколько минут, и мистер Бредсли с удивлением отметил, что посетитель с незначительным именем вовсе не собирается робко покашливать, как обычно поступали такого рода посетители. Подобное положение не могло долго продолжаться, и мистер Бредсли принужден был поднять голову.

Перед ним стоял грузный, массивный человек с лицом, обращающим на себя внимание. Одна половина лица у этого человека была совершенно неподвижной, как у паралитика, другая подергивалась, двигая скулу, словно, за щекою человека была мышь. Человек смотрел только одним живым, быстрым глазом, другой у него был неподвижный, и от этого взгляд приобрел необычайную силу.

Мистер Бредсли откашлялся. Это был первый случай в его «практике», когда он воспроизвел этот звук — увертюру робости перед началом разговора.

— Чем могу служить? — спросил мистер Бредсли вежливо и указал посетителю на кресло.

Гильберт К. Чаней сел в указанное ему кресло и неожиданно тихим голосом задал вопрос, ошеломивший адвоката.

— Как вы относитесь к делу осужденного Херфа?

«Правительственный агент, надо быть с ним осторожным», — подумал адвокат и, минуту помолчав, ответил:

— Совершенно не интересуюсь этим делом. Осужденный коммунист — коммунисты вечно влипают в какую-нибудь

историю. Я — буржуа и патриот — отношусь к ним вообще отрицательно. К тому же скажу вам прямо, дело это требовало бы огромных денежных затрат и энергии. Осужденный бедняк и...

Чаней тем же тихим и спокойным голосом перебил мистера Бредсли:

— У осужденного есть могущественный друг, это его класс. Он ни перед чем не остановится, чтобы помочь ему. Вам могут предложить огромную сумму для приостановления дела, для хлопот о помиловании... Вы — лучший американский адвокат, выигравший не одно невозможное дело, — вы могли бы выиграть это дело или считаете его безнадежным?

«Коммунист, — подумал мистер Бредсли, — разговор начинает приобретать деловой оборот».

— Я не закончил своей мысли, — продолжал мистер Бредсли со спокойной изворотливостью, создавшей ему славу. — Осужденный бедняк и безусловно невинен в убийстве, которое ему приписывают. Это единственный факт, который волнует меня как юриста, борца за справедливость. Факт, который дал бы мне силы для ведения этого дела, если бы были средства. Справедливость должна восторжествовать, хотя бы и ополчилась на меня вся капиталистическая Америка. Вы, надеюсь, понимаете, что для правительства это дело стало принципиальным, стало демонстрацией силы: промышленный кризис, нажим на коммунистов, кампания против СССР. Конечно, дело здесь не только в Херфе, но его имя стало известным всему миру; рабочая пресса ведет бешеную кампанию протеста; создан специальный комитет защиты; десятки тысяч «возмущенных» писем получил президент, и если правительство не сдастся, то только потому, что необходимо поддержать престиж власти. Судью, вынесшего приговор, обвиняют в пристрастии, и помиловать — значит согласиться, что американский суд неправедный. Губернатору

штата поручен пересмотр дела, решение им еще не вынесено, но ни для кого не является тайной, что осужденный будет казнен. Как видите, исхода нет. Но если бы я взялся за это дело, думаю, что выиграл бы его. — Мистер Бредсли воодушевился, словно стоял в зале суда. — Я знаю такие вещи, которые неизвестны многим. Например: Томас Карриган, выступавший на процессе как свидетель, как очевидец убийства, на самом деле — бывший полицейский агент. Вместо тюрьмы, к которой он был присужден за незаконное ношение оружия, он разгуливал на свободе до вчерашней ночи. Вчера ночью он повесился в номере гостиницы «Раджа». Сведения об этом в печать не прошли и не пройдут, если я не возьмусь за это дело, имея фактические доказательства. У меня всегда есть под рукой полезные люди, которые сообщают мне сведения. Самоубийство Карригана имеет в нашем деле огромное значение. Томас Карриган своей смертью доказал, что он — жалкий провокатор, сыгравший гнусную роль купленного свидетеля. Ему заплатили за клятвопреступление, чтобы убрать с дороги активного работника компартии — Джима Херфа, чтобы отвлечь процессом внимание масс от промышленного кризиса. Я это так не оставлю. Мое имя пользуется достаточным авторитетом для того, чтобы та кампания, которую я подниму, дала положительные результаты. Вскрытие тела Томаса Карригана покажет, что он — отравленный алкоголем человек, стоявший на грани помешательства. Алкоголь пропитал его тело и душу. «Сухой закон» не является препятствием, когда преступная совесть требует забвения. Коридорный гостиницы «Раджа», видевший провокатора за несколько минут до смерти, может рассказать о том отчаянии, в каком находился провокатор...

Гильберт К. Чаней повернулся к адвокату живую половину лица, и мистер Бредсли ужаснулся, прочтя на ней насмешку.

— Вы осведомлены, — сказал Чаней тихим голосом, — лучше любого сыщика. Это остается только приветствовать, мистер Бредсли. Вы — деловой человек. Вы не проходите мимо ни одного шумного процесса, хотя бы и не занимались прямым ведением его. У вас блестящая организация — вы собираете факты, они всегда могут пригодиться, не правда ли? Вы не жалеете затрат на содержание штата осведомителей. Похвально, очень похвально, мистер Бредсли... но вы не возьметесь за это дело.

Чаней встал и, отвернув лацкан пиджака, показал адвокату значок Ку-клукс-клана. Мистер Бредсли побледнел, заерзal на кресле — от ужаса у него захватило дыхание. Тем же тихим голосом, которым он говорил все время, Чаней произнес многозначительную фразу:

— Я предупреждаю вас от имени организации...

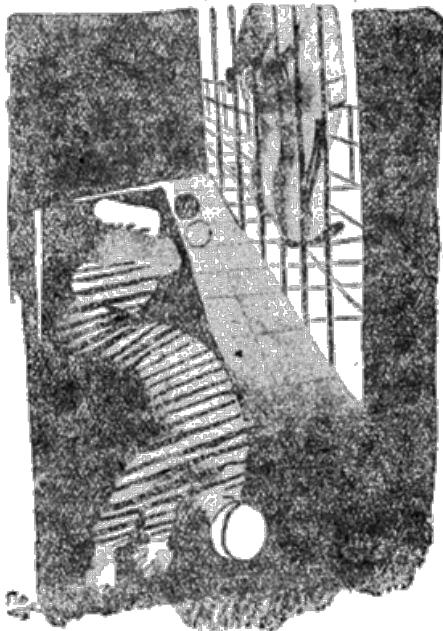
Грузные шаги Чанея давно уже отзвучали за дверью кабинета, а мистер Бредсли все еще сидел в кресле, в той же позе неподдельного ужаса, с открытым ртом и остановившимся дыханием.

V. Капельная клизма и веселый радио-полдень

Уже на четвертый день голодовки Херф не чувствовал тела. Ему казалось, что кто-то другой — невероятно тяжелый — лежит на койке, а понятие о самом себе стало невесомым. Пылающий разум его словно отделился от тела и глядел на чужого, лежащего на койке человека с потолка одиночной камеры.

Человек отказывался не только от пищи, но и от питья.

С голодом он справился сравнительно легко. Лишь первые два дня испытывал мучения, на третий, день голод перестал беспокоить. Но жажда, отвратительный неутолимо гложущий червь, не давала ему ни минуты покоя. Вначале он не знал, куда



Ему казалось, что кто-то другой —
невероятно тяжелый — лежит на койке...

конца, но никак не мог погасить раскаленные угли. На исходе шестого дня тюремный врач едва уловил у него биение пульса.

Администрация тюрьмы растерялась. Ей было известно, что губернатор штата утвердил приговор, что должна была через несколько дней состояться казнь — и вдруг нелепость: осужденный пытался обойти правосудие и умереть самовольно.

Получив по телефону нахлобучку от губернатора и приказ: «Вернуть к жизни во что бы то ни стало», начальник тюрьмы призвал на помощь весь свой тюремный опыт.

Америка — страна прогресса, наука там поставлена на должную высоту, людей казнят со всеми удобствами, на стуле, да

девать неистощимую, беспрестанно набегающую в рот слону. Потом приток слюны прекратился. Пересохли губы, гортань, пищевод; казалось, что вскрыли живот, вынули внутренности и вместо них положили раскаленные угли. Человеком завладели галлюцинации. В тяжком бреду посещала его мать. Ласковые морщинистые руки поили его горячим чаем с молоком. (Она поила его так в детстве, во время болезни, это запомнилось и повторилось теперь в бреду.)

Он пил этот чай с молоком без

еще на электрическом. Как же не найти способов заставить человека жить, когда он хочет самовольно умереть.

После нескольких процедур искусственного питания (посредством капельной клизмы было введено нужное количество молока с желтками и солью) осужденный был возвращен к жизни...

* * *

Мать осужденного, сестра и брат сидели за обеденным столом, не притрагиваясь к еде. Тягостное молчание длилось уже долго, длилось до тех пор, пока не заговорил в углу рупор громкоговорителя:

— Алло, алло, алло! Слушайте, слушайте, слушайте! — начал приятный баритон в знакомом напевном темпе.

Херфы вздрогнули. Приятный баритон продолжал:

— Сейчас без десяти минут двенадцать. Проверьте свои часы. Мы начинаем сенсационную передачу. В двенадцать часов будет казнен Джим Херф, коммунист, осужденный за убийство и ограбление...

Херфы застыли в тех позах, в каких впервые услышали начало радиосообщения. У них не было силы прекратить это надругательство, опрокинуть, разбить равнодушный рупор. Приятный баритон продолжал:

— Осужденного выводят сейчас из камеры. Он спокойно идет по коридору мимо решетчатых дверей камер других арестантов. Осужденный хладнокровен, что доказывает черствость его сердца. Он отказался от священника. Он выслушал приговор, не моргнув глазом. Но теперь, когда его посадили на электрический стул, крупные капли пота проступили на его лбу. У осужденного распороты брюки у щиколоток. Ему одевают на обнаженные ноги

стальные браслеты, стальной колпак на голову. Проверьте свои часы! Теперь без одной минуты двенадцать. Исполнитель казни стоит перед доской с рубильником. Стрелка подходит к двенадцати, Исполнитель казни кладет руку на рубильник. Проверьте свои часы. Исполнитель казни включает ток... СВЕРШИЛОСЬ!

Пауза. И опять приятный баритон:

— Алло, алло, алло! Слушайте! Мы продолжаем наш радиополдень. Сейчас известная негритянская певица мисс Гвики исполнит новую песенку-фокстрот.

Приятный баритон умолк. Звонкий женский голос заменил его:

— Джэк здесь, а Мэри там, там, там,
Ола райт! гиппопотам, там, там...

Веселый радаополдень продолжался...

* * *

В этот день 1 августа состоялась антивоенная демонстрация, подготовке которой так много сил отдал Джим Херф. Впереди рабочих колонн горели знамена с лозунгами компартии — против войны, за защиту СССР, за освобождение Джима Херфа.

Демонстрация состоялась на площади Юнион-сквер. Выступали с речами Джонстон, представитель лиги профсоюзного единства, Гайсвуд, представитель американского конгресса трудящихся негров и члены ЦК компартии.

Полиция стреляла в рабочие колонны, в десятки тысяч живых Херфов.

Гремела на ушицах Нью-Йорка буря века — предвестник грядущих, непрестанных революционных боев.

РАМЗЕС



I. Погоня

Ночью по городу зачастил дождь. Улицы обезлюдили, словно пулеметный огонь, скосив сотни человеческих жизней, разогнал многотысячную демонстрацию. И как после разгона демонстрации шапки и трупы — чернели лужицы и лужи на молчаливых мостовых...

Промчавшись по пустынным улицам, остановился у горбатого переулка автомобиль. Из него вышли несколько человек в военных фуражках и непромокаемых плащах. Пройдя половину переулка, они скрылись в подъезде четырехэтажного дома.

Молча шли эти люди бесконечными пролетами лестниц.

— Здесь, — сказал наконец высокий, что шел впереди, и в руке у него блеснул револьвер.

Сутулый (казалось, голова росла у него прямо из плеч), шедший вторым, бесшумно открыл отмычкой дверь. В квартиру вошли будто в ней был тяжело больной; на цыпочках миновали несколько дверей, остановившись в конце коридора перед последней. Отступив несколько шагов, высокий с разбега ударом плеча высадил ее. Стуча сапогами, ввалились в комнату. Сутулый нажал кнопку карманного фонаря.

В маленькой комнате, на узкой циновке спал человек. Он вскочил при первом же шуме. Несколько больших черных револьверов окружило его.

— Сопротивление бесполезно, — сказал высокий.

Ветер зашевелил волосы на голове арестованного. Ветер... мысль об открытом за спиной окне была такой яркой такой рельефной, будто увидел он это окно возникшими на затылке глазами.

— Оденьтесь! — сказал высокий и хотел сказать еще что-то, но не успел сшибленный с ног коротким ударом...

Эти люди в ловкой и прочной одежде с карманами, наполненными соответствующими удостоверениями, хорошо вооруженные, чувствовали себя настолько сильными, а обнаженного человека — настолько беспомощным, что самой большой неожиданностью были для них — удар, падение высокого и прыжок обнаженного человека в черный квадрат окна. Они спохватились лишь тогда, когда уже было поздно, наполнив маленькую комнату гудящими выстрелами.

...Ветер! Дождь! Боль в пятках, пронизавшая тело, гудящей кровью отдавшаяся в висках... Балкон под окном на третьем этаже. С левой стороны балкона — пожарная лестница на крышу...

Только это воспринималось сейчас беглецом, двигало его сознание. Целеустремленность его мыслей и движений была сейчас единой и точной, как работа машины. Движения направлялись по невидимым рельсам, как трамвай, и, как сигнальные лампочки на поворотах, вспыхивали топографические мысли.

На крыше он перевел дыхание, и только тогда почувствовал липкую кровь на правой руке. Согнув руку в локте, человек

ощупал ее, будто пробовал силу мускулов. Этот жест так не соответствовал обстановке, что беглец невольно усмехнулся.

Пуля прошла через мякоть, не повредив кости. Оторвав полосу от рубашки, беглец крепко перевязал рану.

Черные крылья ночи шумели над ним. Он побежал по крыше. Крыша гремела под его ногами, как театральный гром. Он пробежал крыши четырех домов, сопровождаемый бутафорской грозой и настоящим проливным дождем.

Мокрый и обессиленный, по пожарной лестнице он спустился во двор пятого дома. Этот дом имел сквозной двор, он помнил это...



По пожарной лестнице спустился он во двор
пятого дома

Он пробежал подъезд — узкий и темный, как пещера, мимо сторожа, спящего в позе бронзового Будды. Он бежал по улицам, затянутым сеткой дождя, и кипящие потоки воды бились о его босые ноги. Он бежал, чувствуя за спиной погоню, не ослабевающую ни на мгновение. Это было ощущение травимого зверя, обостренное обоняние в борьбе за жизнь. Инстинкт не обманывал его. У людей, пришедших его арестовать, было натренированное чутье ищек, они ненадолго теряли след и шли по пятам, как борзы за волком.

Конечностей он уже не чувствовал. Они одеревенели и повиновались механически. Он не чувствовал всего тела. Вместо тела у него было огромное сердце, переросшее грудную клетку, заполнившее гулкими прерывистыми ударами все поры измученного организма. Сколько времени он уже бежал — час, два, вечность... время для него перестало существовать, перешло в астрономическое измерение, будто он попал в безвоздушную, разреженную атмосферу.

Дождь мчался впереди него. Мчались впереди него река, темная и рябая от дождя, мчались по реке отражения зданий, жилки течений повторяли серый мрамор стен. Огромные молчаливые здания теснили его. У него появилось искушение броситься в реку. В острой тоске погони он поднимал голову и видел небо в тучах. Тяжелые и громоздкие, они были подобны очертаниям зданий.

Погоня вынесла его на площадь. Он огляделся.

Впереди, за длинным кружевом решетки неуклюжее, как слон, присевший на задние ноги, спало огромное здание. Собрав последние силы, беглец перелез через решетку.

У стены здания силы оставили его. Но это продолжалось недолго.



Они не теряли след и шли по пятам, как
борзые за волком

Он увидел окно! Окно было открыто!

Он не знал, что ждало его там, внутри. Он лез туда, как мокрый барсук в темную теплую нору...

II. Встреча

Многоликая жизнь была у теней. Тени видоизменялись.



Он лез туда, как мокрый барсук в теплую
нору

Верблюд превращался в паука.
Слон в зайца. Заяц шевелил
ушами. Пробегали стада
оленей. Шел рассвет —
медлительный и неверный.
Тени глядели со стен каморки
на спящего старика.

Старик ворочался в
непрочных сетях сна.
Неспокоен и краток сон
стариков. Оки спят как
испорченные будильники. В
любом часу их может
пробудить сознание,
сорвавшееся с истертой
зубчатки сна, как звонок
испорченного будильника.

Старик проснулся и сел
на постели. Заботливо
посмотрел он на ребенка,
спящего в противоположном углу каморки, кряхтя и потягиваясь,
оделся и вышел из каморки.

Он ковылял по длинному коридору к двери, ведущей в
огромный зал, и задники его стоптанных туфель били по

мраморным плитам пола, как плавники рыбы. Едва ступив за порог, он остановился. Меч, направленный в его грудь, неожиданно сверкнул перед ним.

Старик опешил, попятился, заморгал глазами, потом, улыбнувшись, прокрался в дверь под мечом.

Рука в железной перчатке толкнула старика вбок. Он схватил холодные железные пальцы перчатки, засопел носом и неуклюже столкнулся грудью о грудь с рыцарем, закованным в латы.

За плечами рыцаря белели фигуры юношей: юноши, присевшего для прыжка, юноши, мечущего диск, юноши, натягивающего лук стрелой...

Старик отодвинул фигуру рыцаря от двери, чтобы они не заграждала вход. Укоризненно причмокнув языком, он прошамкал:

— Не спится ей... ходит по залам... все переставляет...

Задники его мягких войлочных туфель прошлепали дальше и вдруг замолкли. Старик остановился, едва не споткнувшись о саркофаг мумии, лежащей на полу. Из щелей размалеванной крышки саркофага равномерно вырывалась пыль. Старик вздрогнул. Он услышал прерывистое дыхание спящего человека. Осторожно, будто стеклянную, он поднял деревянную крышку. В саркофаге спал человек. Перевязанная окровавленным лоскутом материи тяжела лежала на груди человека рука.

Старик протяжно вздохнул.

— Вот что творится теперь на свете, — прошептал он.

Глядя на спящего в саркофаге человека, старик вспомнил о неожиданных событиях, вторгшихся в его спокойную, однообразную жизнь....

Тридцать лет прослужил Маулан сторожем историко-археологического музея. Дочь его — Каури —росла и воспитывалась в этих стенах. Товарищами ее детских игр были

фигуры археологической древности. Директор музея, профессор-англичанин (он умер пять лет назад), заинтересовался сумасшедшей индусской девушкой и сделал ее своей ученицей. Шли годы как часы... Каури вышла замуж за индуиста-студента, и Маулан остался одиноким. Маулан делил свое одиночество с мраморными философами... Шли годы как годы... Каури родила дочь. Муж Каури — член национального конгресса, был убит три дня назад на улицах Калькутты, во время демонстрации протеста против ареста Ганди... Каури сошла с ума. Маулан приютил сумасшедшую дочь и двухлетнего ее сына. Каури по ночам не спит. Бродит по музейным залам. Двигает фигуры. Раскрывает окна, ей душно, ее теснит горе. Вот и сейчас она бродит где-то здесь. Разыскивая ее, Маулан набрел на человека, спящего в саркофаге. Человек этот, вероятно, влез в окно, раскрытое Каури. Человек в саркофаге индус. Рука у него ранена — он бунтовщик...

Маулан вздрогнул. Мысли его оборвались, вспугнутые безумным криком его дочери, неслышно подкравшейся к нему.

— Отец! Это бог Озирис! — кричит сумасшедшая, и прямые черные волосы ее вздрагивают на ее плечах. — Ты слышишь, отец? Это бог Озирис, воплотившийся в фараона Рамзеса...

Человек в саркофаге, разбуженный криком, вскочил на ноги. Он не совсем еще пришел в себя от сна, глаза его беспокойно оглядывают старика и сумасшедшую.

Маулан качает головой.

— Нет, это не бог, это человек... это настоящий человек.

Маулан смотрит на раненную руку человека, прикладывает его здоровую руку к своему лбу и, низко склонившись перед ним, говорит:

— Мир и приют тебе, сын народа.

Беспокойная мысль не оставляет сумасшедшую. Она словно ищет кого-то, кто подтвердил бы истину ее слов. Искаженное лицо

ее вдруг проясняется: она видит директора, неожиданно входящего в зал. Порывисто, как и все, что делают беспокойные сумасшедшие, она бросается к нему навстречу.



Она видит директора, входящего в зал

— Профессор! Вы поймете меня... вот... бог Озирис, воплотившийся в фараона Рамзеса. Я требую почестей для Рамзеса.

Каури смеется пронзительным смехом.

Тroe мужчин встречаются глазами. И раздаются три восклицания:

— Саib!

— Джагат!

— Отец!

III. Друг Махатмы Ганди

Профессор Гвалиор Мандалай Алимар родился в 1879 году в наполовину независимом княжестве на северо-востоке Индии, в Портакдаре, на берегу Оманского моря. Он родился на десять лет позже своего знаменитого друга Махатмы Ганди в той же местности, которая произвела на свет «индусского Толстого».

Мохандас Карамшанд Ганди, прозванный Махатмой, что означает «великий дух», был любим профессором Алимар, как друг детства. Но профессор не уважал Ганди как философа, как не уважал он и Нерру — члена индийского национального конгресса.

Профессор Алимар — директор историко-археологического музея, ученый, обладающий мировым именем, больше склонен был к проповедям писателя-западника Рабинраната Тагора, чем к непротивленству Ганди, его призыву к пассивному неповиновению и культу домашней прялки. За всеми этими наивными способами борьбы Ганди с британским империализмом Алимар разглядел опасную тягу к косному и невежественному прошлому индийского народа. Страстный западник, до болезненности влюбленный в культуру, в каких бы видах она ни проявлялась, профессор верил в победу прогресса и цивилизации, он убедил себя в том, что, только добившись высокой степени культуры, индийский народ сможет свергнуть владычество Британии. Мысль о том, что его многомиллионный народ колонизован, как многочисленное дикое племя, приводила его в ярость.

— Культура, культура, и еще раз культура! — без конца повторял он.

Раз навсегда поверив в это, так сказать создав свою собственную теорию освобождения индусского народа, профессор перестал интересоваться политикой, всецело отдав свои мощные способности науке. Обширными трудами по археологии он создал себе мировую известность. Несколько лет назад его назначили директором историко-археологического музея Калькутты, создав вокруг этого сенсацию в газетах: индус занимает крупную административную должность!

Высокий и статный, с угрюмым лицом в пышной раме седой бороды, профессор Алимар жил замкнуто. Была червоточина, подточившая его жизнь. Сын профессора Джагат, родившийся от первого брака с индусской женщиной, двадцатилетним юношей порвал с отцом всякую связь. Причиной разрыва между отцом и сыном были политические разногласия. В то время как профессор дружил с Ганди-непротивленцем, а убеждениями был связан с Рабиндранатом Тагором, Джагат увлекался Манабендрай Нат Роем, который в то время еще не был предателем, а был марксистом, учеником Ленина, проповедовавшим индийскому пролетариату учение о классовой его самостоятельности, о непримиримой революционности и о социалистических целях; Рой-коммунист был дорог коммунисту Джагату, как человек, составлявший вместе с Лениным резолюцию по национальному и колониальному вопросам, принятую на втором конгрессе Коминтерна. Джагат не раз приводил в спорах с отцом эту резолюцию, призывающую к поддержке национально-революционного движения в странах, порабощенных империализму «великих держав». Резолюцию, которая учила осторожности и выдержанке, но вместе с тем требовала деятельной пропаганды коммунистических идей в рабочих массах и освобождения их из-под идеиного руководства буржуазного национализма.

Став коммунистом, Джагат бросил университет, всецело отдав себя партийной работе, был задержан как пропагандист во время забастовки на джутовой фабрике, судим и приговорен к долголетнему тюремному заключению, но бежал из тюрьмы.

Семь лет профессор не имел вестей о сыне. За это время разлуки с сыном профессор женился во второй раз. Он женился на бойкой француженке, вернее было бы сказать «бойкая француженка женила его на себе».

Элиза Лонгвиль, наполовину авантюристка, наполовину истеричка, приехала в Индию, питая болезненную страсть ко всему таинственному, к спиритизму в особенности. До брака с профессором она изъездила страну вдоль и поперек, пережив, как она говорила, «бездну романов и очаровательных приключений».

Последним ее «романом» перед замужеством был «роман» с английским офицером сэром Джемсом Бенетом.

Видный офицер контрразведки сэр Джемс пренебрежительно относился к француженке. Подметив на одном из банкетов ее оживленную беседу с профессором Алимаром, сэр Джемс стал особенно зло подшучивать над нею. В отместку за пренебрежительное отношение к ней самой и к индусу мадмуазель Лонгвиль — дочь демократической Франции — вышла замуж за профессора-индуса.

Профессор Алимар, в противоположность своему другу аскету Ганди, любил все, что давала жизнь: вкусную еду, хорошее вино, красивых женщин. После первых же дней супружества увлеченный профессор почувствовал острый французский каблучок, сразу оказавшийся под башмаком своей жены. Капризная и взбалмошная, она заставляла его присутствовать на спиритических сеансах, которые он от всей души ненавидел, как ученый и здравомыслящий человек. Со спокойствием Сократа профессор молчаливо терпел капризы жены.

Но случилось так, что профессор заговорил с женой властным тоном приказания. Это было в то утро, когда после семилетней разлуки он встретился с Джагатом в музейном зале. Джагат был беглецом. Вопреки своим убеждениям, профессор гордился сыном, поднявшим оружие за освобождение народа.

Джагат не нуждался в словесных уверениях, он сразу прочел в глазах отца непоколебимое решение дать ему убежище, хотя бы за это пришлось ответить головой. Он откровенно рассказал отцу о погоне, которая загнала его в музей.

Профессор провел сына в комнаты к, не дав ему переодеться, представил его жене. На вопрошающий взгляд жены профессор ответил суровым приказанием:

— Он будет жить у нас... и об этом никто не должен знать... Вы слышите? Никто! Вы хотите знать, кто он? — профессор улыбнулся. — Он бог Озирис, воплотившийся в фараона Рамзеса. Я нашел его спящим в саркофаге. Ведь вы верите в спиритизм? Так вот, будьте знакомы, — профессор сделал обычный в этом случае жест, — мадам Алимар. Рамзес...

IV. Здесь дремлют века

С каждым днем в Калькутте становилось все более тревожно. Власти объявили город на военном положении. По улицам патрулировали броневые автомобили и конные пикеты. Войска были расположены в наиболее беспокойных пунктах. Но все эти меры не могли остановить лавины революционного подъёма: не прекращались рабочие демонстрации. Взбунтовался батальон сикхов и сейчас же был заменен батальоном гуркхов. Европейской части населения было роздано оружие. Повстанцы захватили за городом линию железной дороги и прервали сообщения...

За толстыми стенами громоздкого здания в окаменелом молчании умерших эпох жили музейные залы...

В квартиру директора музея вторглись века. Маски — Диониса, гепарда, фавна, быка глядели со стен. Драгоценные этрусские вазы, египетские папирусы и глиняные таблички с иерогlyphами загромождали огромный рабочий стол профессора.

Появление Джагата нарушило однообразный, раз навсегда заведенный уклад профессорской жизни. Джагат поместился в кабинете отца, куда никто, кроме старухи — служанки, помнившей Джагата еще мальчиком, не имел доступа. Это в некоторой мере прервало ход занятий профессора. Мадам Алимар, после знаменательного разговора с мужем, не выходила из своей комнаты, отделанной в восточном стиле. Она злилась на мужа «проявившего грубость в разговоре с ней». Появление Рамзеса, может быть, и соответствовало спиритическому учению, но мало было вероятно даже для ее взбалмошной головы. Она сразу догадалась, что Джагат — сын профессора, о котором она кое-что слышала раньше. Во всяком случае Рамзес во плоти молодого красивого индуза производил весьма выгодное впечатление, и француженка, была не прочь завести с ним интрижку и обдумывала, как ее начать.

* * *

В кабинете профессора строгая тишина.

Профессор несколько раз перечитывает один и тот же абзац, но строчки проходят мимо его сознания. Мысли его никак не укладываются во времена эпохи Александра Македонского, над которой он сейчас работает. Профессор мучительно думает, старается осмыслить и понять ход последних политических событий, разыгравшихся в его стране. Он думает об аресте Ганди, вспоминает свою последнюю встречу с ним.

Профессор Алимар приехал тогда к Ганди вместе с Рабиндранатом Тагором.

Рабиндранат Тагор, растроганный встречей с Ганди (он легко расстраивался), прочел пятнадцатый стих из священной книги Упанишады, из которой и исходило прозвание Махатма — великий дух.

Глубоким голосом прочел тогда Рабиндранат Тагор:

Он есть единственный лучезарный творец всего, Махатма, навеки утвердившийся в сердцах народов; узнанный сердцем, чувством, разумом. Тот, кто его познает, становится бессмертным.

Профессор вспоминает, как смеялся над этими стихами Джагат, страстно ненавидящий непротивленца Ганди, ярый безбожник и коммунист Джагат, называющий Ганди социал-соглашателем...

* * *

Вежливый, но настойчивый стук в дверь прервал воспоминания профессора.

Человек, в котором запоминались только желтые краги, вошел в кабинет. Человек предъявил профессору бумагу, заверенную надлежащими печатями и подписями. В бумаге предлагалось профессору Алимару принять в склады музея пятьдесят ящиков, содержащих драгоценные предметы, найденные во время последних раскопок в Египте; вменялось сохранить все это в строжайшей тайне ввиду тревожного положения в городе; надлежало выдать ключи от подвалов подателю бумаги, которые должны были остаться у последнего до того времени, когда он вручит их профессору для вскрытия

ящиков и классификации их содержимого. В конце профессор еще раз предупреждался о строжайшей ответственности за разглашение «всего вышеизложенного».

Когда профессор прочел бумагу, человек в крагах заговорил с ласковой убедительностью:

— Вы сами понимаете, уважаемый профессор, как необходимы те меры, которые принимаются для охраны этих драгоценнейших экспонатов древности. Наше тревожное время... Конечно, мы глубоко убеждены, что правительство скоро прекратит беспорядки, и тогда. Профессор, я прибыл вместе с грузом, отдайте необходимые распоряжения для принятия и помещения его...

На пяти грузовиках были привезены пятьдесят огромных ящиков. В просторных подвалах музея ящики устанавливались с педантичной аккуратностью. Предоставив ключи в распоряжение человека в крагах, профессор удалился.

Через два часа он услышал гудение моторов. Это отъезжали порожние грузовики.

Профессор прошел в музей и в одной из зал, скрытой колонной, услышал разговор, заставивший его настороженно притаиться. Разговаривали человек в крагах и сэр Джемс Бенет, что удивило профессора. Они говорили тихо, так что профессор почти в двух шагах от них с трудом улавливал обрывки фраз, но и этого было достаточно, чтобы вселить в его сердце гнев.

— Исполнено в точности, — говорил человек в крагах, вытянувшись по-военному. — Эти ученые такой ограниченный народ... почтенный профессор убежден, что в ящиках... Если бы он знал, что вместо экспонатов древности... автоматические винтовки, пулеметы и патроны... по последнему слову техники... Лорд Ирвин остался бы доволен нами...

Сэр Джемс снисходительно ответил:

— Вы молодец, Роуленд... Арсенал необходимо было разгрузить... в городе слишком много туземных войск... верить можно только в британского солдата... Вы молодец, Роуленд...

Они разошлись в разные стороны, не заметив профессора. Роуленд вышел из здания музея, напевая веселую песенку, сэр Джемс прошел в квартиру профессора. После замужества француженки он стал уделять ей больше внимания, время от времени посещая ее.

Профессор стоял за колонной, низко опустив голову с кудрявой кроной волос. Молчаливые залы — кладбище истории — среди которых протекало его спокойное существование ученого, чьим девизом было изречение: наука не знает политики, были всполошены невиданным революционным размахом, проникшим и сквозь толстые стены музея. Профессор знал, что его сын связался через старика Маулана с товарищами по партии и что товарищи эти — члены подпольного революционного комитета Калькутты — собираются ночью в залах музея (Маулан впускает их через маленькую калитку, что ведет к реке); знал, что в саркофагах лежат прикрытие осколками ваз и орнаментов револьверы и обоймы; знал, что застывшая сукровица папирусов в пыльных шкафах музейной библиотеки истлевшими пергamentами прикрывает пламенную кровь листовок возвзаний. Знал и молчал, потому что не хотел быть предателем.

Но профессор не мог молчать о том, что узнал теперь. Британские власти превратили музей в тайный арсенал оружия, и он не мог скрывать оружие, которым угнетатели его народа кровью его народа заливают его страну. Он начинал уже понимать, что цивилизованный Запад, перед которым он так преклонялся, использует «apolитичную науку» для политических целей. Он хотел было сейчас же пойти и рассказать все Джагату — пусть лучше его народ воспользуется этим оружием для борьбы за

освобождение, — но не мог решиться на это. Не мог решиться на то, чтобы стать виновником разрушительной борьбы в музее (а ведь без борьбы не обойдется, за музеем теперь, наверно, установлена слежка).

Усилием воли профессор заставил себя быть спокойным. Уединенная жизнь выработала в нем привычку разговаривать с самим собою вслух. Изучение литературы древности приучило его к высокопарному слогу. После мучительной борьбы ученый победил в нем, и высокопарной фразой он окончательно подавил в себе нерешительность:

— Я не в праве осквернить кровопролитием святынище истории... здесь дремлют века...

V. Спиритизм и контрразведка

В девяностых годах прошлого столетия в английских журналах стали время от времени печататься рассказы о приключениях частного детектива Шерлока Холмса. В скобках под заголовком стояло: «Из воспоминаний доктора Ватсона». Высокий, слегка сутулый Холмс, обладающий острым проницательным умом, недюжинными познаниями в химии, орлиным профилем и благородным сердцем, в течение нескольких лет, на многих авторских печатных листах, задумчиво курил трубку, раскрывал преступления, наигрывая в промежутках меланхолические вариации на скрипке. Слава о великом сыщике, сочиненном писателем Артуром Конан-Дойлем, перебросилась на континент и вскоре обежала все уголки земного шара.

Несколько лет назад благородные английские граждане воздвигли в Лондоне памятник Шерлоку Холмсу. На бронзовые плечи Холмса падает мелкий лондонский дождичек, а на орлиный нос его присаживаются отдыхать озябшие воробы. Артур Конан-

Дойль, человек с ясным разумом, придумывавший необычайные криминальные комбинации, разрешавший их путем строго дедуктивного анализа, загрустил и занялся спиритизмом. На последнем международном съезде спиритов автор Шерлока Холмса был избран в почетный президиум. Как совместились в этом человеке — ясный разум, дедуктивный анализ и увлечение спиритизмом, задача трудно разрешимая.

Совмещение этих противоположностей есть, вероятно, особенность английской натуры. Ничем другим объяснить нельзя то, что сэр Джемс Бенет, «способный» офицер контрразведки, совмещал неодухотворенную службу контрразведчика с занятиями спиритизмом. Сэр Джемс Бенет, имевший немалые заслуги в деле сыска и допроса с пристрастием, памятника от благородных граждан еще не добился, но зато быстро успевал в карьере. С загробным миром Джемс имел двоякую связь — индусских революционеров он отправлял на тот свет, вызывая в то же время с того света бесплотные тени исторических знаменитостей и своих родственников. Вызванные тени разговаривали с сэром Джемсом через посредство самопишущего в темноте карандаша.

Сэр Джемс регулярно посещал спиритические четверги мадам Алимар.

Членами спиритического кружка мадам Алимар были представители избранного калькуттского общества.

Мисс Сесилия Даусон, светская сплетница, обладающая потрясающей способностью говорить без умолку в часы бодрствования, была медиумом этого кружка.

Бен Али Сет, чудовищно богатый промышленник Индии, ищущий лазейки в английское общество, интересовался спиритизмом постольку, поскольку он давал ему возможность

встречаться по четвергам у мадам Алимар с представителями этого общества.

Роджер Хюгс, владелец огромных мануфактурных фабрик в Англии, приехал в Индию, встревоженный сильными перебоями в эксперте своих товаров. В салоне мадам Алимар он искал встреч с индусскими промышленниками, чтобы узнать настроения и замыслы своих конкурентов.

Лагер Рушия, магнат, владеющий десятками тысяч десятин земли — рисовыми, хлопковыми и чайными плантациями в Пенджабе, районе бесконечных крестьянских восстаний, тучный индус с неприступным маскообразным лицом, играл в салоне мадам Алимар роль экзотического раджи.

Мсье Жерве, смуглолицый француз темного происхождения (поговаривали о том, что он — бежавший из Гвианы каторжник), удачный биржевой игрок и владелец фабрики каучуковых изделий, бывал у мадам Алимар как добрый соотечественник и патриот.

Похожие один на другого, несмотря на различие национальностей, единством классового мышления, гости мадам Алимар объединялись в маленькие группы в углах ее обширной гостиной.

Роджер Хюгс — мрачный, надутый злостью, как индюк важностью, громил в лице Бен-Али Сета всех индусских промышленников, поддерживающих «этого проклятого пророка» — Ганди. Бен-Али Сет извивался перед ним как угорь.

— Вы глубоко ошибаетесь, сэр Роджер, — говорил Бен-Али, опуская хитрые глазки, — когда думаете, что мы поддерживаем Ганди в его консервативных бреднях!

Бен Али лгал. Индусские промышленники действительно поддерживали Ганди, руководящего национальным движением, вылившимся в бойкот английских товаров, но обанкротились, так

как движение это переросло национальные рамки и вредило теперь интересам не только английских, но и индусских промышленников. «Культ домашней прялки», за который ратовал Ганди, призывал к кустарничеству, был протестом против машинного производства текстильных товаров. Это ни в какой мере не входило в интересы индусских фабрикантов текстильной промышленности.

Лагор Рушия в беседе с английским офицером дипломатически подчеркивал свою крайнюю реакционность.

— Правительство должно принять крайние меры для того, чтобы раз навсегда покончить с беспорядками, — говорил он, не изменяя добродушного маскообразного выражения лица, ко в черных глазах его вспыхивали огоньки непримиримой ненависти. — Вы только подумайте, за последние годы произошли сотни крестьянских восстаний!¹

Сэр Джемс — сторонник крайних и решительных мер — был безусловно согласен с индусом, но он не терпел обывательских разговоров на политические темы и поэтому был очень доволен, когда мсье Жерве с патриотическим воодушевлением стал доказывать Рушии правильность французской колониальной политики. Пренебрежительно улыбаясь, сэр Джемс отошел от француза, размахивающего в увлечении руками.

Мисс Сесилия сейчас же завладела им. Стремительный написк ее неудержимой болтливости был ему так же неприятен, как хвастливый патриотизм мсье Жерве, но мисс Сесилия была англичанкой и женщиной — и сэр Джемс терпеливо слушал ее болтовню.

1. Лагор Рушия нисколько не преувеличивал — с 1918 по 1926 год в Индии произошло 340 крестьянских восстаний. За все это время восстанием была захвачена территория, на которой живет до 200 миллионов жителей.

— Сэр Джемс, я должна рассказать вам нечто изумительное, но только дайте слово джентльмена, что это останется в тайне... Мадам Алимар...

И она рассказала Венету историю появления в музее «фараона Рамзеса».

Ироническая улыбка не сходила с губ сэра Джемса во время ее рассказа. Он по-своему понимал это «тайинственное» явление. Игристость характера мадам Алимар его восхищала. (Он объяснял это только игривостью ее характера). На что только способны француженки! Выдать своего любовника за дух Озириса, воплотившегося в фараона Рамзеса! (Он был убежден, что это любовник). Великолепный анекдот! Но как этот идиот профессор поверил в такую чушь?

Мисс Сесилия рассказала еще не все, одна щекотливая подробность смущала ее. Собравшись с духом, она все же выпалила ее.

— Вы понимаете, сэр Джемс... вы понимаете... — говорила, краснея, мисс Сесилия, — его нашли в египетском саркофаге совершенно... совершенно... голым... Это было на рассвете, после страшного ночного ливня... Вы помните?..

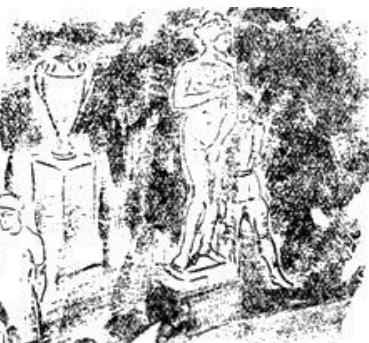
Сэр Джемс вздрогнул. Он вспомнил — ночь, ливень и неудачный арест Джагата, в котором он принимал участие. Контрразведчик взял в нем верх над спиритом и любителем анекдотов. Он едва дождался того момента, когда наконец гости мадам Алимар уселись за круглый лакированный стол и погасили свет.

Не приняв участия в спиритическом сеансе, сэр Джемс бесшумно вышел из комнаты.

VI. Века проснулись

Поздно ночью, стыдливо прикрывшись рукою и склонив набок мраморную голову, равнодушно слушала Афродита взволнованную человеческую речь в темном музейном зале. Но зато вовсю насторожил уши человек в форме английского офицера, притаившийся за мраморной Афродитой. Этот офицер был сэр Джемс Бенет, скептический спирит и опытный контрразведчик.

Пламя двух оплыvших свечей бросало желтые блики на лица людей, собравшихся в эту ночь в музейном



зале. Это были индусы, рабочие, члены подпольного революционного комитета Калькутты. Сэр Джемс сразу узнал среди них Джагата.

Все они внимательно слушали молодого инду

Все они внимательно слушали какого-то молодого индуса, который говорил, поворачивая из стороны в сторону усталое обветренное лицо. Он говорил с подъёмом, красноречием агитатора, взволнованностью и энергией настоящего бойца.

— Товарищи, я прибыл к вам из Пешавара. Из города, который две недели был в руках повстанцев. Из города, который две недели оказывал вооруженное сопротивление регулярным английским войскам, оперирующим танками, тяжелой артиллерией и аэропланами. Эти героические две недели будут вписаны в историю революционного движения Индии. Товарищи, память о последней ночи этих двух недель никогда не изгладится. Я хочу рассказать вам о ней. Народ, который совершил то, что хочу я вам рассказать, недолго еще будет оставаться под тяжкой пятой британского имперализма! Слушайте! В ту ночь, сломленные подавляющей силой оружия англичан, мы отступали к городу. Я был в отряде, который сражался с упорством и нескончаемой стойкостью. Рядом со мной сражался мои отец, пятьдесят с лишним лет его не были этому помехой. Мы отступили на кладбище. Бой продолжался среди памятников и могил. Случилось то, что должно было неминуемо случиться, — англичане подвезли артиллерию. Беспрощадные в точности прицела стали рваться на кладбище снаряды. Среди нас было много старых фронтовиков. Мы поняли значение этого обстрела. Это был заградительный артиллерийский огонь перед атакой. Победоносная британская армия сражалась с нами — с беспорядочными толпами повстанцев, вооруженных старыми, почти никуда не годными винтовками, — по всем правилам военного искусства. Против такого обстрела устоять можно было только в бетонированных блиндажах. Могильные насыпи были ничтожным прикрытием. Снаряды разворачивали их, выбрасывая оттуда исковерканные, расщепленные гробы. Мы с отцом, потеряв

было друг друга, оказались, рядом за одной из могил. Отец стрелял, стоя за мраморным надгробным памятником, я — положив винтовку на край другого. Полная луна освещала кладбище. В нескольких шагах от меня — смешная и нелепая среди происходившей бойни и чудовищного разрушения — чернела табличка на шесте. Это было объявление, запрещающее петь, ходить по траве, бросать окурки и садиться на могилы. Тем из вас, кто был на фронте, не покажется странным то, что я обратил внимание на это объявление. Во время боя думаешь о чем угодно, только не о смерти и тех ужасах, которые подстерегают тебя на каждом шагу...

Он говорил теперь, казалось, забыв о том, что его слушают, так, как говорят порою вслух, медленно выговаривая слова, стараясь понять еще не совсем понятное.

— Но вот вдребезги разлетелся мраморный памятник, из-за которого стрелял мой отец. Его отбросило на несколько шагов от меня. Я подполз к нему. Кровь из обезглавленной шеи залила надпись, выбитую на мраморе маленькой могильной плиты: «Спи спокойно наш робкий безгрешный малютка...»

Клокочущий звук вырвался из горла говорившего.

— Слушайте! Многие из нас теряют в борьбе отцов, братьев, сыновей, но не теряют мужества, веря в грядущую



Я подполз к нему. Кровь из обезглавленной
шеи залила надпись, выбитую на мраморе
плиты

победу. Но эта надпись, звучавшая как насмешка, едва не свела меня с ума... Мы отступили, мы оставили англичанам кладбище с развороченными могилами, с

грудами истерзанных тел. Мы сражались за каждую пядь земли. И вот на рабочей окраине мы остановились. Отступать было некуда. Здесь были наши дома. Нам нужны были баррикады. Кто-то предложил: «Деревья!» На рабочей окраине была роща. Огромные платаны в течение многих десятков лет принимали под свои покровы влюбленных, отдыхающих и бездомных. Здесь проходила молодость рабочих. Окруженные пляской факелов, падали деревья. Лежащие, с обрубленными ветвями, они напоминали голых мертвецов. Трупы деревьев волочили в те улицы, где строили баррикады. Я видел угрюмые лица стариков, провожающих деревья, как провожают любимых покойников. Я

видел плачущие глаза старух. Я видел молодых рабочих и девушек, сжимавших винтовки. Они не плакали, им не было жаль тех ничтожных минут забвения и отдыха, которые они находили под этими деревьями. Они шли завоевывать мир...

Он замолчал, и не растрогалась мраморная Афродита, не растрогался английский офицер, притаившийся за ней. С точностью фонографа запомнил сэр Джемс, что постановил в тот вечер комитет после речи молодого индуса. Комитет решил: оказывать всемерную помощь повстанцам, захватившим линию железной дороги в районе Калькутты; возобновить запас оружия в музее (накануне отправили повстанцы партию оружия, хранимую в музее); не расходиться из музея до появления колонн вечерней демонстрации, которая должна пройти через площадь, где помешается музей; присоединиться к демонстрации — охранять ее силой оружия в случае столкновения с полицией.

Горячее человеческое дыхание перестало обжигать мраморную спину Афродиты: неслышно ступая на мягкие носки сапог, сэр Джемс вышел из зала. Через несколько минут он постучал в дверь кабинета профессора Алимара и, не дождавшись приглашения, вошел.

— Мне придется потревожить вас, профессор, — сэр Джемс старался говорить спокойно, но в голосе его помимо воли звучала долго сдерживаемая злоба, — придется принудить вас пробыть наедине со мною несколько минут, после чего вами займутся в соответствующем месте.

Не шевелясь, не изменяя позы, профессор Алимар посмотрел на англичанина. Взгляд его не выражал ни страха, ни удивления — казалось, он был подготовлен к происшедшему, с минуты на минуту ожидал этого.

Сэр Джемс подошел к телефону и, не сводя глаз с профессора, вызвал контрразведку.

— Алло! Роуленд? Говорит Бенет. Распорядитесь выслать к музею броневой автомобиль и отряд особого назначения. Да немедленно. Мною обнаружено здесь логово бунтовщиков. Они сейчас заседа...

Сэр Джемс не договорил. Неожиданная темнота ударила по глазам, как тяжелый кулак. Огненный нож выстрела разрезал на секунду темноту. И через секунду сэр Джемс метался по кабинету в борьбе с мебелью, хватающей его за ноги, ударяющей в грудь. Никогда не думал он, что в комнате столько мебели! На каждом шагу она подстерегала его, как враг. Расточая проклятия, как удары, с револьвером в руке, стиснутым до боли в ладони, он наконец добрался до двери. Дверь оказалась запертой. Дубовая с острыми рельефными украшениями дверь не поддавалась его свирепым напорам. Он очутился в западне...

Коридор, ведущий из квартиры профессора в музей, был нескончаем... Сколько в нем было километров? Тысячи... тысячи... тысячи... коридор разворачивался, как бесконечная дорога, бегущая милю окон курьерского поезда. Профессор Алимар шел по коридору, шатаясь, вытирая стены сюртуком. Шел, стиснув зубы, ощущая на пальцах руки, прижатой к правой стороне груди, липкую, горячую кровь...

Коридор кончился неожиданно — выбросил профессора на порог залы, как выбрасывает туннель простреленный темнотой поезд на простор и свет поля...

Блестящий мраморный пол залы качнулся и поплыл вверх. И с пола, ставшего потолком, ринулись на профессора человеческие лица...

Лихорадочным взглядом профессор обвел окружающих его, склонившихся над ним людей. Он лежал на полу. Сознание прояснилось так же внезапно, как и покинуло его. Джагат

приподнял отца за плечи. Собрав последние силы, профессор сказал:

— Полиция... предупреждена... спаса...

На площади загремели выстрелы. Зазвенели разбитые пулями стекла.

— Поздно! — сказал Джагат.

На площади гремели выстрелы, сжатая тисками домов билась толпа демонстрантов. Ворочая круглыми башенками, захлебываясь пулеметным огнем, шел на толпу броневик. Толпа хлынула за ограду во двор музея, высадила двери, разлилась по всем залам...

Склонившись над отцом, Джагат жадно слушал его прерывистый шёпот.

— ...подвале... оружие... арсенала...

Джагат выпрямился. Голосом, покрывшим выстрелы, голосом, властным и убеждающим, вселяющим веру и мужество, он повел за собою толпу.

Люди, которых расстреливали как беззащитное стадо, пошли за ним; он обещал им спасение, победу...

Старинными секирами, сорванными со стены, разбили двери подвала. С разбега, не глядя, не думая, разбирали сваленные в углу мушкеты, щиты и мечи.

Молодой рабочий — перебитая пулей рука висела у него как плеть — вез к выходу из подвала маленькую старинную пушку на колесах. Стариk с седой окровавленной головой выбежал с заржавленным мечом в руках из подвала в зал. Шершавым пальцем пробовал стариk заржавленное лезвие меча, причмокивал укоризненно языком. Мраморный Платон кстати встретился ему ка дороге. Движимый неудержимой яростью битвы, стариk стал точить о мрамор меч.

Юноша-индус в студенческой фуражке в оцепенении смотрел на рабочих — со старинным оружием и щитами в руках они напоминали средневековых воинов.

Голосом, перемежающимся истерическим смехом, юноша крикнул:

— И этой
рухлядью вы
думаете
сражаться?



Мимо профессора пробегали люди его народа,
вооруженные винтовками

Джагат ударил
его кулаком по
лицу.

— Товарищи,
без паники! Оружие
в этих ящиках...

* * *

Профессор Алимар лежал у ног Афродиты. Звенели пули, пели, визжали: разз-биваем!.. разз-биваем!.. Сумасшедшая Каури металась по музейным залам, пытаясь своим телом защитить разрушаемые пулями статуи.

Мимо профессора пробегали люди его народа, вооруженные винтовками, револьверами и гранатами. На окнах устанавливали пулеметы.

Глаза профессора меркли... Из горла вырвалось хрипение. Египетская царица Клеопатра подложила под голову профессора твердую и холодную руку...

«Это — смерть», — подумал профессор. Фараон Рамзес склонил над ним угольное лицо свое.

— Века проснулись, — прошептал он.

Профессор перестал дышать.

Высунув дуло пулемета из окна, Джагат Алимар пропустил первую ленту.

О КОМ ГОВОРИТСЯ В РАССКАЗЕ «РАМЗЕС»



Лорд Ирвин — генерал-губернатор или вице-король Индии, представитель английского короля. При нем находится совет министров. Ни вице-король, ни совет не несут ответственности перед индийским законодательным собранием.

Рабинранат Тагор

знаменитый индусский поэт, пишущий по-английски и по-индусски, прославившийся своими лирическими песнями («Гитанджали», «Садовник») и получивший в 1913 г. Нобелевскую премию. Вокруг Тагора группируется либеральная индусская интеллигенция, желающая освобождения женщины и уничтожения каст, не больше.



Махатма Ганди — вождь

индийской мелкой буржуазии. Весной этого года он объявил кампанию «мирного гражданского неповиновения», начав поход на соляной закон (добыча, варка и продажа соли в Индии является монополией правительства). 6 апреля, на морском берегу местечка Дэнди, Ганди засерпнул ладонью морскую воду и унес ее домой. Этот

патетический жест означал начало «похода» против английского владычества. Задачей этого похода было удержать порабощенные, лишенные прав массы в рамках пассивного сопротивления. «Лучше реформы из рук Англии, чем независимость в результате революции», «Я не понимаю, почему требования независимости предполагают увод из Индии британских войск», «Я надеюсь, что мое движение не вызовет насильственных действий» — вот несколько характерных фраз Ганди! Но Ганди не удалось

переключить революционность масс в русло непротивленческих протестов. Против ожидания Ганди и английской и индийской буржуазии массы начали боевое революционное наступление против империализма.

Нерру — президент индийского национального конгресса, в 1929 году сказавший на открытии конгресса в Лагоре: «Нам предстоит задача завоевать власть». Громкие фразы никогда не мешали представителям национальной буржуазии сторговываться за счет трудящихся с империалистами: в настоящее время идут переговоры между вице-королем Нерру и Ганди об участии этих вождей на англо-индийской конференции.





I.

После гастролей в Гаване, прошедших с колossalным успехом, Риварец ехал в Пиналь-дель-Рио. Он рассеянно глядел из окна вагона, слушая неутомимую болтовню своего импресарио, смешного коротенького толстяка мистера Финча из Чикаго.

Мистер Финч в равной мере был одержим двумя страстями — болтливостью и обжорством. Не в силах отдать предпочтение одной из них, он глотал непрожеванные куски кровяного бифштекса, не переставая ссыпать — как из мешка горохом — короткими лающими словами:

— Риварец, вы ни черта не едите! Вы буквально истощаете себя голодом, чёрт возьми! — мистер Финч едва не подавился. — Я не против диеты — каждый спортсмен должен следовать ей, но... я боюсь за ваше здоровье. Я говорю это не из чувства любви, поймите меня, чёрт возьми! Но ведь вы мой золотой прииск. Если вы заболеете, истощится приток золота. Как видите, я откровенен, чёрт возьми!

Риварец молча встал и направился к выходу из вагона. Финч вскочил вслед за ним, с тоской поглядывая на полную еще тарелку. Он знал, куда шел Риварец: не в первый раз ему приходилось следовать за ним по этому пути. Семеня неуклюжими толстыми

ножками, Финч торопливо пробирался между тесно составленными столиками.

* * *

Свистящий ветер рванул в уши. Волосы на голове Ривареца взметнулись черными клочьями дыма. Финч, вышедший за Ривареца на пляшущие тамбурные площадки, не мог бы сказать этого о своих волосах. Голый череп его окунулся в ветер, как в холодную воду.

Риварец проходил



По полотну бежали люди с
ружьями в руках.

площадки между вагонами, не берясь руками за поручни. Он держался твердо на упругих пружинящих ногах, как на арене цирка, когда он невозмутимо стоял в седле скачущей лошади. Финч больше работал руками, чем ногами, — казалось, они у него были органами передвижения. Он стискивал руками поручни, как клещами, перебрасываясь рывками, как акробат, взбирающийся по веревочной лестнице на руках.

Они проходили вагоны, где на мягких сиденьях покачивались в сладкой дреме, в солидном спокойствии пассажиры первого класса. Первый класс! Этим сказано все. Этим дышат сонные фигуры на диванах. Это ярче всего выражено цепкой паутиной разбросанных ног. Ноги в крепких желтых башмаках на резиновых подошвах тянутся к проходам, ловят проходящих, заставляют спотыкаться, заставляют чувствовать, что «мы отдыхаем — не тревожьте наш отдых, оплаченный долларами...»

Вагоны, вагоны! Финч вытирал мокрую лысину большим носовым платком. Они уже давно миновали первый класс и проходили теперь третьим, где на деревянных лавках, в крепком, терпком дыму дешевых сигар из маисовых листьев, плечом к плечу сидели пеоны¹. Здесь было тесно и душно, как в скотских вагонах. Представители всех наций — негры, китайцы,metis, малайцы, белые — сидели вперемежку. На их изможденных лицах застыло выражение покорности усталых животных, но в глазах играли огоньки отчаяния, голода и ненависти. По этим огонькам можно было судить о живых человеческих душах, израненных тяжкой пятою свирепой диктатуры губернатора Мачадо.

Риварец рванул в сторону дверь товарного вагона.

Сорванцы-школьники встречают любимого учителя горделивой напряженностью осанки. Они подчиняются только ему одному, и подчинение это не является результатом униженности или забитости. Они подчиняются ему, как любимому старшему товарищу. В этом торжество добровольной дисциплины.

Так встретили лошади Ривареца. Он обходился с ними без

1. Пеоны — рабочие плантаций.

хлыста, разговаривал как с людьми — и они подчинялись ему с горделивой осанкой сорванцов-школьников. Во время цирковых представлений лошади Ривареца поддерживали строжайшую дисциплину, проделывая сложные номера дрессировки, гибкие, как змеи, зачарованные музыкой.

Скорый З-бис имел в хвосте несколько товарных вагонов — явление очень редкое на железной дороге. В этом деле не малую роль сыграли доллары и администраторский гений Финча. В этих вагонах перевозились пятьдесят дрессированных лошадей Ривареца.

В сопровождении Финча и конюхов, Риварец обходил лошадей, для каждой находя ласковое слово, каждую называя по имени. Он кормил нежно ржуших животных хрустящей морковью. У Агата — прекрасного жеребца серебристой масти с черным пятном между глаз — Риварец задержался дольше, чем у остальных. Агат был его любимцем, с Агатом у него было связано одно незабываемое воспоминание. На Агате Риварец проделывал большую часть своих номеров. Жеребец плясал под ним на арене сложнейшие танцы.

Риварец обеими руками приподнял его морду, и конь любовно уставился на него изумрудными глазами. Потом Риварец нагнулся к шее коня и благоговейно поцеловал багровый выпуклый шрам...

II.

Поезд убегал от наседающих на землю сумерек. Кроваво-яркие глаза зажглись на паровозе. Дельцы, промышленники, плантаторы отходили ко сну.

Диего Веронез, владелец огромных плантаций в окрестностях Пиналь-дель-Рио, ворочался с боку на бок на мягкой, заботливо

взбитой проводником-негром постели. Заботы гнали от него сон. Два месяца назад железной рукой диктатора Мачадо было подавлено на Кубе восстание пеонов. Веронез возвращался из Гаваны, где лично благодарил диктатора. На его плантациях волнения среди пеонов приняли особо угрожающий характер, и плантатор вез с этим поездом в багажном вагоне приобретенные с благословения Мачадо ящики с ружьями и патронами для усиленного отряда надсмотрщиков. Мачадо советовал Веронезу быть беспощадным. Что-то теперь будет?!

Заботы гнали сон. Наконец удалось забыться, Поезд баюкал. Сознание плавало в рыхлом тумане еще не стройных сновидений... Толчок. Веронеза подбросило, он скатился на пол. Резко содрогнувшись, поезд остановился. Веронез прильнул к окну. По полотну бежали люди с ружьями в руках. Фонари проводников освещали их темные фигуры в плащах. Лицо Веронеза покрылось землистой бледностью. Фигуры кричали такое, от чего волосы на его голове начинали шевелиться:

— Двадцать пять человек к паровозу! — кричал высокий человек в широкополой шляпе с револьвером в руке. — Пятьдесят по одну сторону поезда, пятьдесят по другую. Лечь за насыпь! Стрелять в каждого, кто выйдет из вагона. Двадцать человек в поезд. Расстреливать того, кто будет сопротивляться!

Поезд был остановлен инсургентами¹-peonами, положившими срубленное бревно поперек рельсов. Широкоплечие, в грубых плащах, с ружьями и револьверами в руках, быстро проходили они по вагонам. Высокий человек — тот, который отдавал команду на полотне — теперь проходил по вагонам, без конца повторяя одну и ту же фразу:

1. Инсургенты — повстанцы.

— Спокойствие, друзья, возможно больше спокойствия! Отбирайте только деньги, драгоценности нам не нужны. — И эти слова вселяли невыразимый слепящий страх в сердца пассажиров. Дрожащими руками протягивали они тугу набитые бумажники.

Молодой пеон остановился перед бледным с трясущимися коленями Веронезом.

В глазах юноши вспыхнули молнии зарождающейся грозы. Он порывисто повернулся к предводителю.

— Капитан! — голос его прерывался, раздираемый яростью. — Я работал у него на плантации... мой отец... десятки других... расстреляны... Я знаю, зачем эта собака... он поехал в Гавану за ружьями... новой крови ему захотелось...

Юноша не кончил, снова неуловимо быстро повернувшись к Веронезу. Короткий взмах руки. Выстрел. Тело Веронеза медленно осело на пол. Из, выбитого глаза тонкой струйкой устремилась кровь.

Тот, кого пеон назвал капитаном, хотел что-то сказать, но не сказал, пошел — и уже на ходу бросил глухим голосом. — Ты говоришь ружья, Мигуэль? Надо будет пощупать в багажном вагоне.

Искаженные ужасом лица, черные и желтые квадраты бумажников встречали на своем пути по вагонам пеоны.

Американцы старались держаться с достоинством, сохранить спокойствие, но им это не совсем удавалось. Один возился с сигарой, которая не раскуривалась. Другой, безупречный джентльмен, хотел встретить инсургентов одетым. Раздражаясь, не понимая, но настойчиво он втискивал обе ноги в одну штанину.

В багажном вагоне сразу «нащупали» ящики с ружьями и патронами, закупленные Веронезом в Гаване. Прикладами разбили крышки, и стройные силуэты винтовок поплыли по рукам пеонов из вагона.

Из всех пассажиров первого класса спокойствие сохранил один Риварец. Пеоны застали его в товарном вагоне.

Яркая афиша мелькнула перед глазами предводителя. Он ее видел недавно в Пиналь-дель-Рио. Финч позаботился о широком анонсировании гастролей Ривареца.

— Риварец! Конюшня в пятьдесят лошадей. Какая удача! Лошади нужны отряду.

Финч спрятался за спину Ривареца. Риварец молчал.

— Вы мексиканец, вы не оставите лошадей. Вы присоединитесь к нам?

— Я присоединюсь к вам, — просто сказал Риварец и пожал протянутую руку молодого инсургента.

III.

Песня родилась впереди и прокатилась по всем рядам отряда, длинной лентой растянувшегося по дороге. Горячие обветренные голоса пели о тяжелой доле пеонов. В песне полыхали пожары подожженных гасиенд¹. В песне гудели сердца, рвущиеся на части от ненависти к угнетателям и любви к свободе.

Риварец ехал на Агате. Рядом, скорчившись в седле, изнывая от жары и непривычки, — постаревший, небритый Финч.

Он ни за что не хотел покинуть Ривареца, и инсургенты, смеясь, согласились на его присоединение к отряду, движимые немым уважением к Риварецу. Финч был карикатурен верхом — в котелке, пиджаке и в брюках навыпуск. К отряду присоединились также и мексиканцы — конюхи Ривареца. Отряд насчитывал теперь семьдесят пять сабель. Нападение на поезд было

1. Гасиенда — поместье.

произведено двадцатью пятью всадниками. Команда, которую слышал Веронез, была военной хитростью — количество нападающих было преувеличено, чтобы нагнать пущего страха на пассажиров. Тем не менее пятьдесят человек выросли на лошадях Ривареца, вербованные из пеонов, ехавших скорым.

Хозе Неваль, предводитель отряда, молодой рабочий крупной гаванской табачной фабрики, единственный из всего отряда был политически грамотен, был грамотен вообще. Его живой, ясный ум порой поражал Ривареца игрою и остротою блеска мысли. Хозе Неваль скрылся из Гаваны, спасаясь от преследований полиции Мачадо. Несколько месяцев он работал пеоном на одной из плантаций в окрестностях Пиналь-дель-Рио. Участвуя в последних волнениях, он ответил на кровавые репрессии властей сформированием отряда в двадцать пять сабель. Огненные хвосты красных петухов, пепел пожарищ оставлял за собою отряд Неваля. Они скрывались после набегов в непроходимых ущельях Сиерра-Камариока. Драгуны Мачадо не раз бесплодно пробовали ликвидировать отряд.

Из рядов в ряды летели слова песни. Риварец слушал ее, покачиваясь в седле, полузакрыв глаза. Пели мысли Ривареца.

Хуан-Родриго-Антонио Риварец родился тридцать лет назад в Мексике, в городе Чикугуа Отец его, Родриго Риварец, сражавшийся против федералистов в армии инсургентов Франциски Виллы, был убит при взятии Торреона. Весь долгий славный путь к победе с армией Виллы одиннадцатилетний Хуан совершил в обозе, ухаживая за чахоточной матерью.

Мать не надолго пережила смерть Родриго. Веселый гринго¹, журналист, корреспондент большой нью-йоркской газеты, запечатлел кодаком слезы Хуана над трупом матери. Веселый

1. Гринго — американец.

гринго взял к себе в
услужение Хуана. По
окончании
войны гринго
увез маленького



За Агатом рванулись
пятьдесят цирковых
лошадей. Их не пугали
выстрелы.

Штаты. В Нью-Йорке, городе биржевых дельцов и небоскребов, Хуан затосковал по выжженным равнинам запада. Он убежал от журналиста, несколько дней болтался по городу без дела, пока наконец его не забрала с собой приехавшая в Нью-Йорк повеселиться компания техасских ковбоев...

...Техас. Беспредельное море прерий. Тысячные табуны лошадей. Полная опасностей жизнь ковбоя...

...Гастроли в Мексике. Ошеломляющий успех. Неувядаемые имена, хранимые в сердце. Франциск Вилла, Мадеро, Сапат, Паскауль Ороско — запечатленные любовью имена вождей крестьянских восстаний. И ненависть к именам предателей и диктаторов: Карранцы, Диаца, Хуэрты. Прогулка верхом на Агате в окрестностях города Мехико. Это было днем, летом 1928 года. На пыльной дороге два человека, преследуемые жандармами. Пули жандармов свищут в воздухе. Один из бегущих падает замертво. Второго подхватывает к себе в седло Риварец. Под свист пуль, под гиканье жандармской погони беглец рассказывает Риварецу о совершенном им только что убийстве диктатора. Пуля жандарма, задев щеку Ривареца, рванула шею Агата. Кровь человека и лошади смешалась. Агат вынес Ривареца и террориста из погони. Риварец покинул Мексику...

...Гастроли в Штатах. Договор с Финчем, поездка на Кубу и...

Риварец вздрогнул. Частой дробью рассыпались впереди выстрелы. Отряд остановился. Тревожное слово: «Засада!» пронеслось по рядам.

Кольцо выстрелов, кольцо засады суживалось. Сзади стрекотал пулемет. Сваливались с седел на землю сраженные бойцы. Чтобы спастись, надо было прорваться вперед. Впереди синела Сиерра-Камариока. Впереди было ущелье Вандидо, впереди было спасение. Только бы прорваться.

Хозе Неваль кричал до хрипоты, до пены ка посеревших, растрескавшихся губах:

— Вперед! Вперед!!

Но впереди свинцовым заграждением был пулемет. Падали люди и кони. Двадцать пять испытанных бойцов, с которыми Неваль произвел нападение на поезд, брошенные авангардом вперед, в смятении отступили. Пятясь, они врезались в гущу отряда. И тогда свершилось непонятное, на первый взгляд близкое к сумасшествию. Хуан Риварец запел веселую (к месту ли это было?!) негритянскую песенку. Врезался шпорами в бока Агата. Конь, не привыкший к шпорам, жалобно заржал, стремительным аллюром вынес Ривареца вперед. В бешеном темпе негритянской песенки рванулись за Агатом пятьдесят цирковых лошадей. Их не пугали выстрелы. Не раз под треск хлопушек и шутих, под мотив напеваемой Риварециом негритянской песенки кружили по арене лошади.

На пулемет, на смерть, на волю мчались кони, увлекая людей в свистящем вихре ветра, пуль, сабель, атаки.

Хозе Неваль припал простреленным плечом к гриве коня. Голосом, уходящим в беспамятство, теряя сознание от раны, от опьянения вихрем атаки, кричал:

— Вперед! Вперед!!

Замолкли, захлебнулись пулеметы, затихали ружейные выстрелы. И эхом в горах, за синеющими склонами Сиерра-Камариока, звенел бешеный темп веселой негритянской песенки.



I. С ВЫСОТЫ ДВУХ ТЫСЯЧ МЕТРОВ

Солнце вспыхнуло, выплыло из-за туч.

— Будет исполнено, товарищ начдив! — Василий Рогов пожал протянутую товарищем Блюхером руку и, круто повернувшись на каблуках, пошёл к самолёту.

Андрей Хлынов ждал его у самолёта; широко расставив ноги, покусывая рыжий ус, он стоял, склонив набок голову, словно хотел задобрить Рогова..

— Почеломкаемся, Вася, — сказал Андрей, и в горле у него хлюпнуло. — Может, не свидимся. Такая полоса пошла — что ни час, не досчитываемся героев-бойцов.

Рогов обнял Хлынова, поцеловал в рыжие, пропахшие махоркой усы. Хлынов отвернулся и, не глядя больше на него, смешался с толпой ординарцев начдива 51.

Через несколько минут товарищ Блюхер уже задирал голову, глядя в бинокль на режущий воздух самолёт.

Забирая высоту, Рогов держал направление на Перекоп. Неоднократно делал он со своего самолёта съёмку местности и составил о ней точное представление. Картаочно засела в голове.

Самолет забрал две тысячи метров, сделал поворот на крыле и белым облачным пухом обронил листовки. Снежными хлопьями опускались на землю листки... Внизу, на Турецком валу, закопошился серый человеческий муравейник. Рвали листовки Друг у друга из рук. Читали:

„СОЛДАТЫ И ОФИЦЕРЫ ВРАНГЕЛЕВСКОЙ АРМИИ!

Красная армия, разбив своими мощными ударами армию Врангеля, гонит остатки ее к Крымскому полуострову. Не устояли самые стойкие марковцы, дроздовцы, корниловцы...

Солдаты и офицеры! Посмотрите вокруг себя и к себе в тыл: разве вы не видите, что ваша цель войны—«спасение и возрождение России»—превращается в закабаление ее союзниками и капиталистами?

Разве вы не чувствуете всего обмана, спекуляции, дороживизны и голодовки в Крыму? Это вы все видите, но, как слабые духом и обманутые, молчите.

Солдаты и офицеры Врангелевской армии! Теперь от вас самих зависит прекращение бесцельного кровопролития. Ведь вы же в большинстве пролетарии, крестьяне, рабочие, не заинтересованы в бойне, хотите вновь зажить спокойной жизнью.

Если это так... предлагаю вам, солдаты и рядовое офицерство, немедленно составить революционный комитет и приступить к сдаче Перекопа. Всех сопротивляющихся арестовывать. Гарантирую полную неприкосновенность личности каждого из вас!

О принятии этих решений немедленно довести до моего сведения поднятием красного флага или высылкой парламентеров, которым идти безбоязненно.

Начдив 51 БЛЮХЕР”

Завизжала шрапнель зенитного оружия, перекатываясь, загрохотало внизу. Ожили батареи. Сизыми дымками оволокло Турецкий вал.

«Не достанете, черти! — подумал Рогов, сбрасывая новую партию ли-стовок. — Укрепились, гады! Позиция — хоть куда. А наша-то дивизия? Стоит перед валом — вся как на ладошке!»

Внизу грохотало, визжало, плевалось пламенем и дымом. Самолет делал виражи, словно дразнил белых. Внезапно острый холодок разлился в груди Рогова. Самолет накренился и стал стремительно падать. Рогов схватился за ручку управления. Ручка не поддавалась.

«Пропал, управление повреждено», — мелькнуло в голове Рогова огненной ракетой предвидение близкой гибели.

Самолет пошел к земле штопором. Когда он пожрал уже большую часть пространства, отделяющую его от земли, снаряды подхватили и разнесли его вдребезги.

II. ПИСЬМО И ЗАПИСКА

Письмо было четко написано на плотной голубой бумаге с затейливым вензелем двух букв «Н. Л.» в левом верхнем углу, под графской короной. Письмо не дошло до назначения. Оно было найдено санитаром в госпитале на умершем от тяжких ран поручике графе Николае Сергеевиче Локонском. Мусоля голубую бумажку грязными пальцами, санитар прочел:

«19/X—20 г.

Дорогая Лили!

Пишу тебе — и нет у меня уверенности, что получишь ты мое письмо. А ведь уверенность должна была быть. Ведь я верил в загробную жизнь, в силу ангелов. В детстве, рассердившись на

мать, я мечтал о смерти, о могуществе ангела, которое мне будет дано после смерти. Лежа в постели, я мечтал о том, как буду глядеть с неба на близких мне людей и делать для них добро. Мечта об ангелах послала меня в эти грязные, вшивые окопы. Ведь мы, белые, называемся белыми неспроста. Мы должны быть такими—светлыми и чистыми. Мы должны быть ангелами, но ангелами не из воска с серебряными крыльшками, для елочных украшений... Мы должны быть ангелами в латах, с мечом в руке, ангелами-воителями, рыцарями, восстанавливающими многогрешную нашу русскую землю.

Так думал я... И вот—я мертв. И не дано мне силы загробного жителя!..

Нет, Лиля, это не бред. Я мертв, несмотря на то, что бьются еще мое сердце и делаю я еще человеческие дела... нехорошие, грязные, подлые дела... Я мертв духом.

Да и не один я, все мы — так называемые белые — мертвецы, и воскрешения нам не будет.

В окопах—виши, грязь, голод и отчаяние.

В тылу, где «спасители России»,— разврат, пьянство, воровство и... тоже отчаяние.

Исхода нам нет!

Кому верить, на что надеяться?

Главнокомандующий Врангель думает только об интригах, картах и наживе... Генерал Слащов — ограниченный вояка, неспособный видеть дальше своего носа. Рядовое офицерство ему верит, высшее командование третирует его, устанавливает за ним слежку и т. п. Генерал Шиллинг, продавший Одессу,— настоящий вор. Сюда, в Крым, завезли из Одессы про него анекдот. Спрашивают: сколько фунт имеет шиллингов? Отвечаешь — и тут же тебе задают коварный вопрос: а сколько Шиллинг имеет фунтов?

Это не смешно. Нас продают, нас обворовывают, а мы отдаем свои глупые молодые жизни на растерзание снарядам во вшивых окопах.

Меня прикомандировали в тыл адъютантом полковника Кирпичникова. Этот фрукт был начальником крымской сухопутной контрразведки. Он расстреливал без суда и следствия, брал взятки, реквизировал все и вся...

В результате его убили свои же подчиненные. Заместитель его, полковник Астраханцев, оказался не лучший — удрал с казенными деньгами за границу.

Нет, в тылу я не мог остаться. Лучше смерть в окопах. Смерть — единственный выход из этого тупика.

Процай! Люблю!

Твой Николай».

Записка — маленький клочок линованной бумаги, вырванный из блокнота — была вручена Андрею Хлынову врангелевским солдатом-перебежчиком.

Бледный, со сжатыми зубами, с остановившимся дыханием, прочел Андрей несколько неровных, нацарапанных карандашом строк:

,„Брат, товарищ!

Поручение партии в крымском подполье выполнил. Задержан белой разведкой. Мучают, гады, и расстреляют наверняка. Организацию не выдам. Бейтесь до последней... Даешь Крым!

Степан Хлынов».

III. «ПРОРВЕМСЯ, ПРОРВЕМСЯ, ПРОРВЕМСЯ!»

Наступил ноябрь — холодный, жестокий...

Далеко в Москве Владимир Ильич Ленин сказал: «Мы не можем тянуть с Врангелем до зимы... Зимняя кампания будет тяжела для бойцов».

Мы не можем! Не можем!

7 ноября, ночью, красные части двинулись к Турецкому валу. Белые отходили, но на валу остался гарнизон. Красные части впервые атаковали вал. Гарнизон белых встретил красные части ураганным артиллереийским огнем. Десять прожекторов осветили все пространство...

Андрей Хлынов перебегал со своей цепью от бугорка к бугорку. Он отпросился из ординарцев в боевую часть.

Гудело в голове от разрывов снарядов, горело лицо, мускулы напрягались как тетива.

— Прорвемся, прорвемся, прорвемся!—

Слова срывались с потрескавшихся губ Хлынова, заглушаемые грохотом разрывов.

Вчера он видел гибель своего друга, летчика Василия Рогова. Вчера он узнал из записки о расстреле, ожидающем брата. Степан, вероятно, уже расстрелян.

Расстрелян Степан... погиб Рогов... изрешечен двадцатью двумя пулями комбриг Юшкевич...

Ненависть растет в груди Андрея.

— Прорвемся, прорвемся, прорвемся!..

Ключья ночного тумана рассеиваются рассветом. Бригады штурмуют вал. Рота Андрея Хлынова пробивается через проволоку и врывается на вал. Ураганный огонь отбрасывает ее обратно в окопы...

Утро. Усталые части отдыхают перед последней решительной атакой.

Странная, непонятная тишина охватывает местность.

Андрей Хлынов лежит в окопе на спине. Он жив, он дышит, он смотрит вверх, в небо, на облака в далекой синеве.

IV. НА ПРОВОЛОКЕ

В ночь на 9 ноября, в холодную .беззвездную ночь, бойцы готовились к последней атаке Турецкого вала. Писали письма домой. Андрей Хлынов был одинок—после расстрела брата некому было писать. Но одиноким себя Андрей не чувствовал.

Рядом с ротой Хлынова стояла 1-я саперная рота.

Чавыре подрывника получили задание взорвать проволочные заграждения перед валом. Хлынов и еще шесть пекотинцев вызвались на подмогу подрывникам. Они получили в саперной роте пятьдесят кило динамита, девять пироксилиновых, зарядов, пятнадцать кило весом каждый, индуктор для взрыва и провода для соединения зарядов.

Когда прошли свою цепь, стали ползти, каждый неся тяжелый и страшный груз.

В тяжелой темноте вспыхивали орудийные зарницы, нитью небыва-лой иллюминации мелькали ружейные выстрелы. Красная пехота молчала— чтобы не попасть в своих.

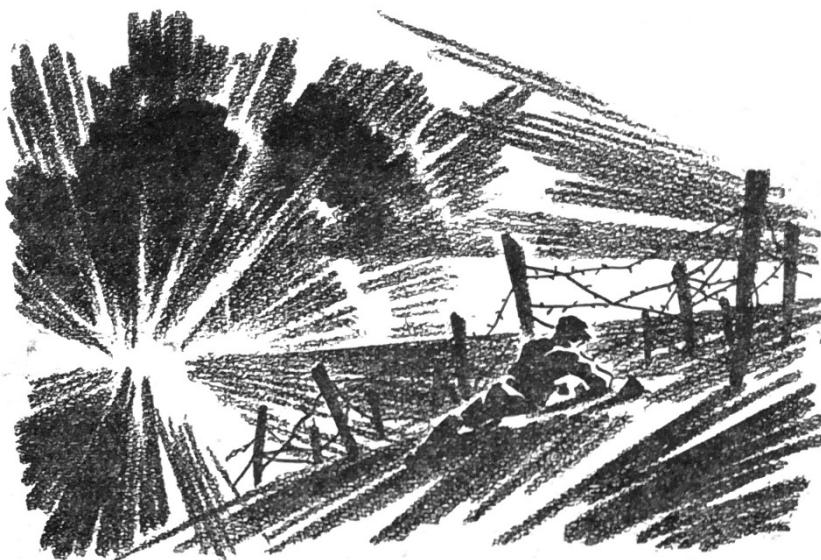
Ползли... Холодная земля обжигала ладони, темнота давила. Делали маленькие передышки и опять ползли, ползли. Местность была изрыта ямами от снарядов. Приходилось ощупывать темноту руками впереди себя.



Ползли, ходом прикрывая от пуль взрывчатые вещества

Глухой шум заставил всех притаиться. Оступился один из подрывников и свалился в яму, подмяв под себя индуктор и провода.

Загорелось впереди огнями винтовочных залпов. Секрет белых обнаружил подрывников. Засвистали пули, визжа, стала шлепаться о землю шрапнель. Выждав немного, опять поползли



Вот наконец проволока.

вперед подрывники. Телом прикрывали от пуль взрывчатые вещества.

Ночь не выдавала стонов раненых подрывников. Они беззвучно оставались на месте, истекая кровью... Настороженное ухо улавливало тихий разговор в неприятельском секрете.

Огибали секреты — и ползли вперед. У Хлынова онемела спина, он окоченел, отяжелел. Шли часы, годы, миллионы лет растворялись в вечности — так казалось... Вот наконец проволока.

Тихо, даже дыхание задерживая, заложили заряды, установили ящики с динамитом и соединили всю систему с проводами.

Индуктор не действовал. Подрывники убедились в этом, когда отползли обратно на полтораста шагов. Вероятно, он был поврежден при падении в яму.

Хлынов пополз обратно.

Страшный грохот повис над местностью. Белые нашупали подрывников, артиллерия открыла по ним огонь.

Хлынов заметался в багровом кольце взрывов. Уже не пытаясь скрыться, сорвал шинель, приделал бикфордов шнур к зарядам, накрыл его шинелью и приготовился ползти обратно. Вскрикнул. Осколок снаряда, угодил в ногу. Попробовав ползти — чудовищная боль стянула все тело... Секунду помедлив, щелкнул зажигалкой и поднес ее к бикфордову шнуре:

— Даешь!.. — крикнул Хлынов и не успел досказать: «Перекоп!..»

Взрыва он не услышал. Сто метров проволочных заграждений были снесены динамитом, огнем революции, кровью Хлынова, подвигом его. Гремело позади «ура» идущих в атаку красных частей...



9 ноября 1920 года, около трех часов дня, наштадив Датюк вызвал по телеграфу 152 бригаду:

— Что нового? Как штурм? Кто у аппарата?

— У аппарата Боряев. Комбриг сто Пятьдесят Два. Собираюсь на Армянский базар. Турецкий вал взят.

ПЕРЕКОПСКИЙ ПЕРЕШЕЕК

Перекопский перешеек представляет собою полосу суши до 10 километров шириной, окруженную с одной стороны Перекопским заливом, с другой — Сивашом, и соединяющую материк с Крымским полуостровом. Будучи в общем ровной, слегка волнообразной степью, перешеек непосредственно у Перекопа пересекается Турецким валом, который тянется от Перекопского залива до Сиваша. Вал —насыпь земли около 15—20 метров в высину и 12—15 метров в ширину. Перед ним тянется ров.

Турецкий вал — этот врангелевский Верден — мало страдал от артиллерии красных. Это была основная перекопская позиция белых, создающая для них совершенно закрытый тыл. К югу от Армянска перешеек значительно расширяется, но здесь он был покрыт целым рядом непроходимых озер. Таким образом природные условия намечали две позиции: одна у Перекопа и другая севернее Ющуни, в между озерном пространстве.

Защищали Перекоп несколько линий окопов. Первая проходила на 600 шагов севернее Турецкого вала, по скату, защищенная проволочными заграждениями в 3—4 ряда. Вторая линия шла по валу. Окопы были врезаны в вал, изрытый гнездами и блиндажами, где были размещены пулеметы, огнеметы, минометы, бомбометы и легкая артиллерия.

Артиллерия белых могла сосредоточить огонь по любому пункту системы перекопских укреплений и быть поддержанной с моря.



ГОПП
ФИЛИПП ИЛЬИЧ
(1906—1978)

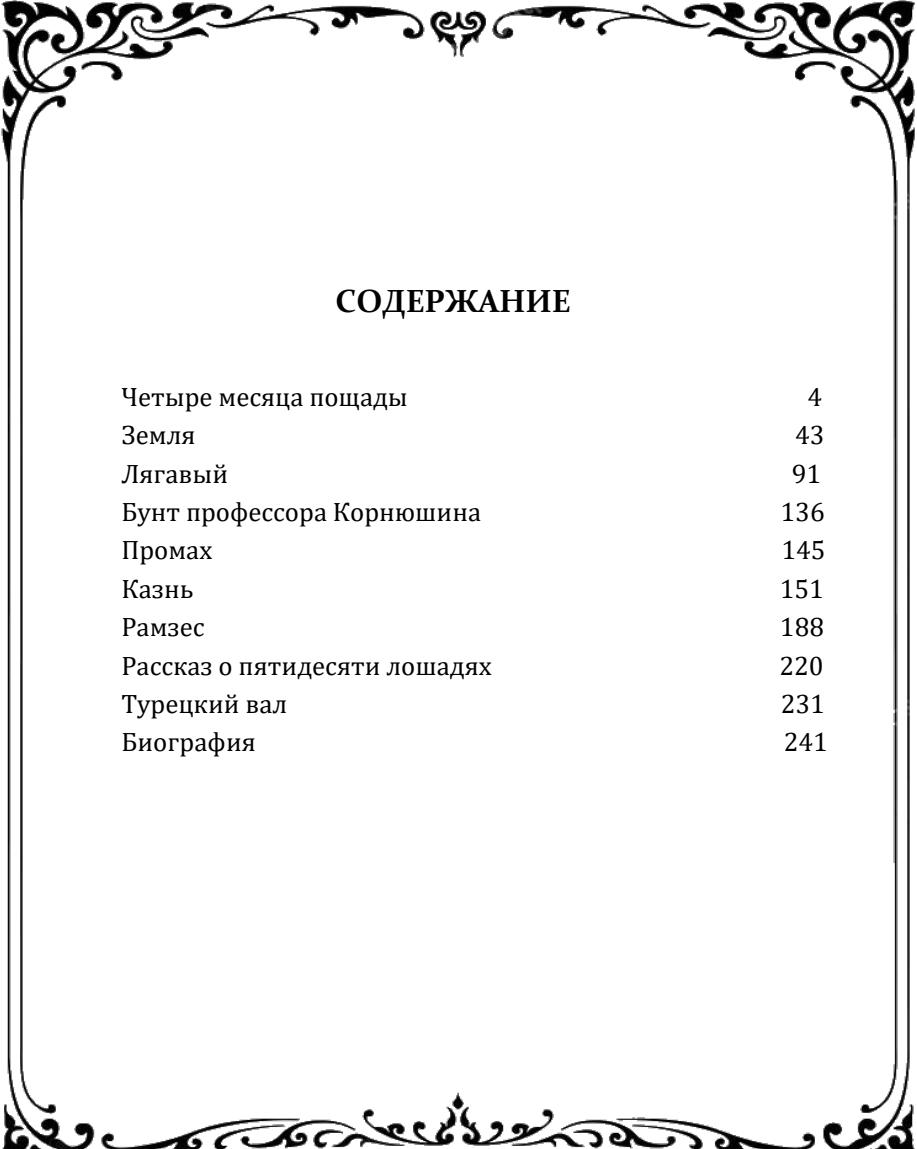
Гопп— писатель.Филипп Ильич Гопп родился и провел юность в Одессе. Во время гражданской войны во время уличных боев в городе был контужен. На долгое время оказался прикованным к постели. Начал писать. В начале 20-х годов переехал в Москву, стал печатать в столичных газетах рассказы, сюжеты некоторых из них использовались для сценариев в кино. В мемуарах писал о современниках, с которыми встречался и общался. Был близким другом писателя и драматурга Ю. Олеши.Филипп Ильич Гопп родился 3 марта 1906 года в Одессе, умер 7 апреля 1978 года в Москве. В начале 1920-х гг. он переехал в Москву, и уже в середине 1920-х гг. его рассказы и повести стали появляться в периодике. Он печатался в «Огоньке» («Письмо из Америки», 1924 год – первая публикация 18-летнего Гоппа), «Экране» (повесть «Четыре месяца пощады», 1925 год), «Всемирном следопыте» (рассказы «Рамзес», «Казнь», «Рассказ о пятидесяти лошадях»), «Вокруг света» (антифашистские повести «Лягавый» и «Земля», 1931 год) и др. По его рассказу «Два-Бульди-два» (о цирковом артисте, нашедшем свой путь в революцию) в 1929 году был снят немой кинофильм (режиссеры Л. Кулешов и Н. Агаджанова-Шутко). Ф. Гоппа арестовали 22 апреля 1937 года. Его, человека «без определенных занятий» (члена профсоюза издательских работников), проживавшего тогда по Сретенскому бульвару, 6, кв. 54 и женатого на Галине Николаевне Чудиновой, 25 лет, обвинили в организации и руководстве террористической группой журналистов, богемных и разложившихся типов, замысливших покушение на товарища Сталина (еще им инкриминировались мечты о попадании заграницу, в частности, в Париж). 7 июля 1937 года Гоппа приговорили к пяти годам ИТЛ со стандартным поражением в правах.

Еще отбывая свой срок Гопп, надо полагать, попал в Мариинские лагеря Сиблага. А отбыв его, он осел в Томске, понемногу печатаясь в местной и даже в центральной прессе. Так, вскоре после войны отдельной книжкой в Детгизе вышли его рассказы об этой войне (в которой он лично не участвовал – правда, поуважительным причинам). В Томске его случайно «обнаружил» Лев Никулин, совершивший в 1946 году большое литературное турне по Сибири. В отделе печати обкома партии ему показали альманах «Томск», и ему сразу бросились в глаза стихи и рассказ Филиппа Гоппа. Судя по всему, Никулин принимал участие в судьбе парализованного лагерника и хлопотал о его публикациях. Но главными ангелами-хранителями Филиппа Гоппа были, несомненно, Константин Ваншенкин и его жена – Инна Гофф, племянница Филиппа Ильича. Снова поселившись в Москве, Филипп Гопп изредка, но публиковался (в частности, в «Советском цирке» или в «Звезде»).

ИСТОЧНИКОВАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

В книге использованы рассказы из журналов
«Экран» 1925, «Вокруг света» 1930,
«Всемирный следопыт» 1930 г.

Иллюстрации А.Любимова, Ю.Пименова,
В.Рождественского, М.Храпковского,
И.Герберга, А.Пржцлавского, С.Лодыгина и
др.



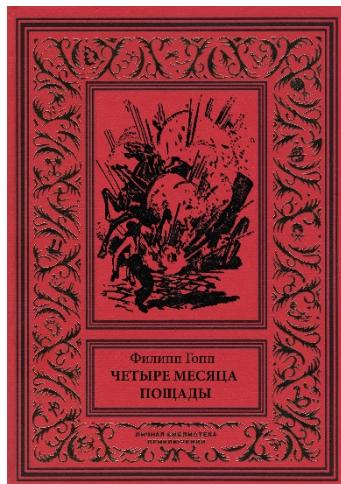
СОДЕРЖАНИЕ

Четыре месяца пощады	4
Земля	43
Лягавый	91
Бунт профессора Корнюшина	136
Промах	145
Казнь	151
Рамзес	188
Рассказ о пятидесяти лошадях	220
Турецкий вал	231
Биография	241

Электронное
литературно-художественное издание

ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ • ПУТЕШЕСТВИЯ •
ФАНТАСТИКА



LEO